ОГОНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА». МОСКВА
№ 3 январь 1988



ВСПОМИНАЯ ЛАНДАУ

РАССКАЗ ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА

МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ



ДЕНЬГИ для ПЕРЕСТРОЙКИ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!





ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан 1 апреля 1923 года

№ 3 (3156)

16—23 ЯНВАРЯ

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:

П. С.Гончаров, управляющий Краснопресненским отделением Госбанка. (См. в номере материал «Скупой рыцарь».)

Фото Игоря ГАВРИЛОВА

Оформление Е. М. КАЗАКОВА при участии Г. Н. СИДОРОВОЙ.

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА
Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп., на полгода — 10 руб. 38 коп., на квартал — 5 руб. 19 коп.

Телефоны редакции: Секретариат — 212-23-27; Отделы: Публицистический — 212-21-88; Международный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69; Искусства — 212-15-39; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Оформления — 212-15-77; Литературных приложений — 212-22-13.

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Сдано в набор 24.12.87. Подписано к печати 12.01.88. А 10305. Формат 70 × 108⅛. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55. Усл. кр.-отт. 16,80. Тираж 1 770 000 экз. Заказ № 1749.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

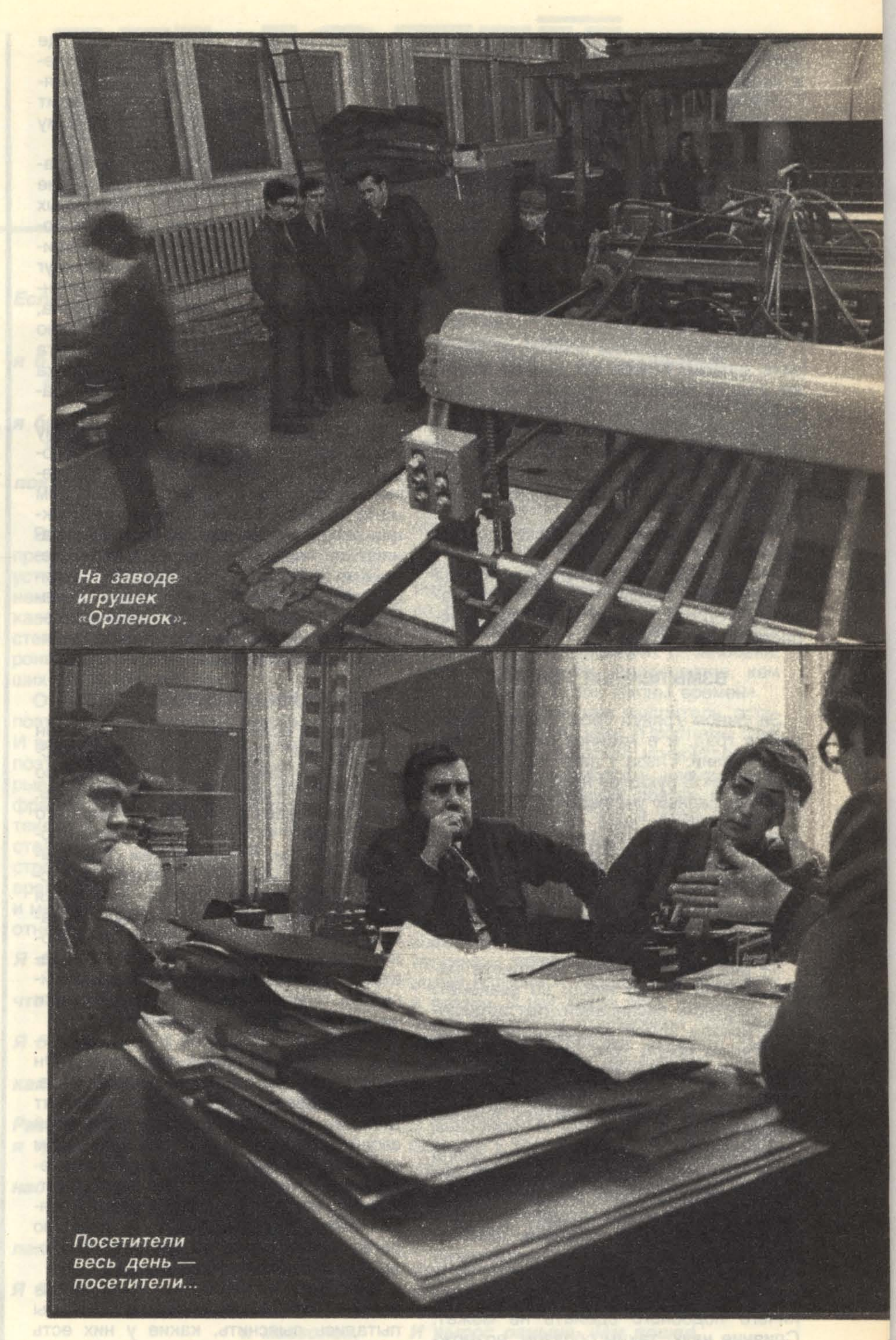
Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

СКУПОЙ РЫЦАРЬ



ПЕРЕСТРОЙКА: ПРОВЕРКА ДЕЛОМ

Этим летом среди московских кооператоров прошел слух о смелом «банкире», готовом субсидировать талантливые идеи (а за гения биться насмерть в вышестоящих инстанциях) и очень творчески относящемся к 1200 инструкциям, по которым Госбанк жил до сих пор без лишних хлопот.



На заводе игрушек «Орленок».

Посетители весь день — посетители...

драмы из банковской жизни

Наталья СЕВЕРИН

Фото Игоря ГАВРИЛОВА



Мне, например, о нем рассказал председатель кооператива психологов «Фрагмент» Владимир Шустиков:

— Поскольку мы начинаем сотрудничество с американской фирмой «Петергоф», у нас возникло множество нестандартных финансовых проблем. И если к кому обращаться за помощью, то именно к управляющему Краснопресненским отделением Госбанка Москвы Петру Гончарову. У этого человека есть опыт, эрудиция, он умеет принимать решения...

На известном графическом листе художника Н. Купреянова «Улица, 1925 год» над шумным вечерним городом, который явно не собирается засыпать,— куда-то торопятся конки, бегут люди — пылает вывеска «Банк». Слово это кажется таинственным и значительным, кипение жизни связано именно с ним — оно озарено магией власти. Я попробовала вообразить себе подобную «банковскую графику» сейчас... Какова магия власти банка в последние пятьдесят лет? Да никакой! Об этом с равной горечью говорят все его служащие — от кассы до правления Госбанка СССР.

Однажды кредит перестал быть кредитом. Потому что выдавался на цели, заведомо противоречащие его природе, затыкал все «дыры», покрывал бесхозяйственность. Не располагая реальной властью, банки превратились в мелких опекунов, которые только желчно придирались и штрафовали.

Трудно представить себе, что в этой поэзии бумажек, кнопок и скрепок, в этой прозе исполнительства могут появляться импровизаторы...

Несколько дней я провела в банковской конторе. Видела всякое. И гениев, и людей, запутавшихся в самых простых вещах. И поняла, что здесь сейчас, пожалуй, интереснее, чем в театре. Постоянные драмы. И все — настоящие. «Жанр» работы меняется ежечасно. Тихие бумажки, разлетающиеся с подписью управляющего по району, иногда вызывают эффект молнии. У цифр есть своя жестокая поэзия.

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ — ВЫ НА ХОЗРАСЧЕТЕ!

Недавно я слышала сравнение: «Лицо у него стало, как у директора завода, которому сказали, что завтра он переходит на хозрасчет и самофинансирование».

Такие лица появляются сейчас в банке постоянно. В Краснопресненском районе столицы многие десятки предприятий и организаций. К решительному экономическому шагу они готовы не все. И тут банк становится надеждой и опорой.

— Я меньше года работаю директором оптового объединения «Росторгодежда»,— рассказывает Светлана Ильинична Храпова.— Объединение досталось далеко не преуспевающее. Проблем сотни. И тут — переход на хозрасчет. При том, что из отрасли сверху спустили очередные плановые цифры. Страшновато. Не все показатели, которые с годами только запутывались, мне понятны. Гончаров приехал на объединение буквально через несколько дней после моего вступления в должность. Все посмотрел, успокоил: «Помогу». Для него, говорят, нет загадочных цифр. Из любой алгебры делает гармонию». И такое поведение управляющего нетипично. Многие его коллеги спесиво ждут, когда к ним прибегут на поклон за советом и помощью...

Недавно Петр Сергеевич Гончаров «ввязался» в историю, после чего чуть не прослыл главным врагом... помидоров и огурцов в Краснопресненском районе.

Районное плодоовощное объединение долгие годы лихорадит. Один за другим сменяются директора. Долг банку — 15 миллионов. Платить — нечем. Растраты и потери — 8 миллионов. Что делать с такой организацией? Банк решает: ни копейки больше. Иначе история будет ползти до бесконечности. Но при этом, конечно же, уменьшается количество овощей и фруктов. (Понятно: лишь на время.) Начинают искать виновного. Все указывают на банк.

Как у практика, знающего дело изну-

три, у Гончарова есть свой взгляд на проблемы хозрасчета, свои сомнения и предложения.

— В Законе о государственном предприятии указаны новые права заводов и фабрик, но здесь трудно найти обязанности перед ними отраслей, которые остались, как и прежде, диктаторами. Не сохранятся ли и отраслевые амбиции — а отсюда и привычка помогать «флагманам», ведущим предприятиям и теперь, когда они перешли на хозрасчет? А маленькие фабрики и заводы пусть выкарабкиваются, как знают. Я уже такое видел.

Все хозяйственники привыкли создавать запасы. Теперь эти запасы мешают. Нужно было бы, прежде чем переводить предприятие на хозрасчет, забросить туда экономический «десант», который бы помог расчистить поле для деятельности, вывести завод, фабрику на нулевой цикл, откуда можно начинать отсчет.

— А как в этом теперь может помочь банк?

— Сейчас он становится своего рода менеджером. Сводит клиентов. Помогает им торговать друг с другом, перераспределять средства.

ВЗМЫЛЕННЫЙ ГЕНИЙ

За окном грянул гром, дождь перешел в град, и в кабинет наконец ворвался гений. Глаза у него, как положено, горели. В руках он нес папку с отказами из разных учреждений.

— Если бы я знал, что меня ждет, я бы не взялся за это дело! — с горечью начал он. (Зовут его Кирилл Орлов. Московский ученый. Председатель хозрасчетного Центра научно-технических услуг для Москвы и Московской области.)

— Мы взяли заказов на триста тысяч рублей, а нас никак не узаконят. Нет штатного расписания. Нет помещения. Восемь замов рассматривают мое заявление после того, как его подписал начальник. Не понимаю, что происходит,— бюрократия процветает. Чего стоят все статьи в газетах! «Слова, слова, слова...»

Зимой в этом кабинете сидела группа подобных людей, талантливых и энергичных. Микробиологи, фармацевты, химики пришли с идеей кооператива. Они создали несколько десятков иммуноферментных наборов (диагностический набор нового типа). Каждый из этих людей в отдельности в своей системе ничего подобного сделать не может. Слияние наук, таким образом, возможно на основе кооператива. Так возникло товарищество «Орнамент», которому Краснопресненский банк открыл счет и которое — имея множество заказов — до сих пор также не обрело своего правового статуса.

С развитием кооперации в Москве появилась новая категория просителей — талантливые люди, которые приходят с государственными идеями, которые всем нужны и которых все боятся и отталкивают...

Догма, которая делает бесправными кооперативы, нуждающиеся в договорах с государственными предприятиями, такова: безналичные деньги не должны становиться наличными. Есть даже мнение, что подобные кооперативы просто запускают руку в державный карман.

У Гончарова есть точка зрения, которую он отстаивает уже во многих инстанциях, водя туда за руку беспомощных «гениев», умеющих придумывать, но не бороться за себя.

— Если происходит торговля не воздухом и не шорохом орехов, затраченные средства возмещаются. Деятельность таких кооперативов необходима государству, потому что высвобождает от выполнения подобных заказов другие предприятия, снижает общие затраты труда, ускоряет фондооборот. Есть продукция экспериментальная, которую нужно выпускать небольшими партиями. Ни один завод не включит ее себе в план. Почему же это не отдать кооперативу? В конце концов где сказано, что кооператив не может перерасти в государственное предприятие? Путем проб и ошибок он освоит технологический процесс, по которому потом пойдет целый завод.

Я против того, чтобы деньги уплывали в кубышки. Но у кооператоров — не кубышки. Многие из этих энергичных людей пытаются наладить выпуск товаров, которые у нас считаются дефицитом. А известно, что именно вокруг дефицита возникают такие искаженные формы торгово-денежного обмена, как взятки, подкупы, обсчеты. Именно через них деньги уплывают из оборота в эти самые кубышки. Чем же плоха в этом случае роль кооператоров, зачем им мешать?

Другое дело — их еще нужно многому учить. Закон об индивидуальной трудовой деятельности сложен и противоречив. А брошюрок с его толкованием мало. В организациях, где эти инструкции есть, их почему-то ревностно охраняют и никому не показывают. (Все-таки и на этом сумели создать дефицит!) Чиновники среднего звена считают, что кооперативное движение — временно. А потому им можно заниматься спустя рукава.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

Когда-то, если спектакль был сложен или скучен, его завершал дивертисмент. Мне тоже захотелось пойти по этому пути. Тем более обнаружилось: Петр Сергеевич Гончаров — мало того что театрал, но еще самым тесным образом связан с московским театром-студией «На досках». Главный режиссер театра Сергей Кургинян находится под «финансовым обаянием» управляющего банком, погружен в глубокоэкономическое состояние. И если завтра в афише театра появится какой-нибудь современный вариант «Книги чисел» — можно не удивляться.

— Да, Петр Гончаров в экономике — мой учитель. (Монолог режиссера.) Он участвует в театральном эксперименте, и благодаря его помощи эксперимент для нас проходит успешно. При всей своей строгости управляющий банком не терзает нас ежедневной, еженедельной отчетностью, как это бывает. Я могу, например, на несколько месяцев закрыть театр, уехать в деревню репетировать. А потом сделать необходимый кассовый сбор.

Однажды в передаче «12-й этаж» я видел, как молодые люди с Лестницы пытались выяснить, какие у них есть юридические, экономические, социальные права. Взрослые на студии в ответ качали головами — как вам не стыдно быть такими деловыми. Нужно, как мы в 60-е годы, лететь на волне нравственности, бескорыстного подъема. Мне кажется, сравнивать сегодняшнюю ситуацию с той, что была двадцать лет назад — значит обречь ее на подобный же финал. Время другое. Время граждан, знающих свои права и обязанности.

Я наблюдаю за Гончаровым не только как за финансистом. Как за личностью. Он — член «Делового клуба». Мне кажется, именно такие люди, соединяющие нравственную основу с деловыми качествами, и являются героями сегодняшнего дня. Они способны противостоять косному, отжившему, но больно сопротивляющемуся. Правда, у героев этих тоже есть пока драма. Общество еще только начинает их задействовать по-настоящему...

...

Пока готовился этот материал, в жизни Петра Гончарова произошли изменения. С нового года вступила в силу банковская реформа. Краснопресненский Госбанк переменил качество — теперь это — Жилкоммунбанк. Среди его функций — кредитование населения, работа с кооператорами. Часть кооперативов, которым помогал управляющий,— получила официальный статус...

«ОН УПРАВЛ



ЯЛ ТЕЧЕНЬЕМ МЫСЛЕЙ...»

ПЕРЕЧИТЫВАЯ СТРАНИЦЫ ПОЭТИЧЕСКОЙ ЛЕНИНИАНЫ

Станислав ЛЕСНЕВСКИЙ

«Портретов Ленина не видно...» Какая простая, строгая, памятная строка! За ней — многое...

И суровая приподнятость, и сдержанная тревога, и образ эпохи, ее тон, стиль, музыка. Музыка революции...

Портретов Ленина не видно:
Похожих не было и нет.
Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет.

С детства западают в сердце скупые строки Николая Полетаева и ранят какой-то несказанной печалью о близком и великом человеке. А написаны они за год до безграничной утраты...

Перо, резец и кисть не в силах
Весь мир огромный охватить,
Который бьется в этих жилах
И в этой голове кипит.

Мое поколение еще застало время, когда каждый год торжественно-траурно отмечался день памяти Владимира Ильича Ленина. Еще было немало людей, хранивших в душе горечь скорбных дней, воспоминание о последнем пути «революции и сына и отца»...

И мы, дети военных лет, тоже вновь и вновь переживали общую скорбь — народную, но и личную, твою, когда переполняет все существо жалость, когда подступают слезы и перехватывает горло...

Мы помнили не одно стихотворение о Ленине, о прощании с Ильичем, о незабвенных морозных днях... И читали эти стихи на школьных вечерах и утренниках... Это было для нас постоянное и вечно длящееся событие — расставание с Лениным, встреча с Лениным...

Забуду ли народный плач
у Горок,
И проводы вождя, и скорбь,
и жуть,
И тысячи лаптишек и опорок,
За Лениным утаптывавших путь!

Эти «Снежинки» Демьяна Бедного так и слились с днем памяти Ленина, с самим образом всенародного проща-

Шли лентою с пригорка
до ложбины,
Со снежного сугроба на сугроб.
И падали, и падали снежинки
На ленинский — от снега
белый — гроб.

Мы так пережили эти дни, часы и минуты, что, казалось, были тогда вместе с траурными толпами, шли через Колонный зал, а потом — на Красную площадь... Еще и сейчас иногда нечаянно дрогнет сердце при виде знакомых мест, и загудит издалека могучий распев:

Вовек
такого
бесценного груза
еще
не несли
океаны наши,
как гроб этот красный,
к Дому Союзов
плывущий
на спинах рыданий и маршей.

Что самое сильное в поэме Владимира Маяковского о Ленине, что всегда пробирало нас насквозь, это чувство утраты, это скорбь, это реквием, это превозмогающее смерть бессмертие, но не мраморно-бронзовое, а омытое слезами, содрогающееся от горя и взмывающее песней... «Мы сами, родимый, закрыли орлиные очи твои».

Помните?.. «Ужас из железа выжал стон...» Ужас — остаться без Ленина... Возможно ли это?.. Как быть, как жить?.. «Надо заменить его — кем? И как?»

Ленин указывал путь, Ленин озарял надеждой... «...Ленин — с предвиденьем доброго...» записал Александр Блок в дневнике за несколько дней до Октября...

И мы пошли под визг метели,
Куда глаза его глядели:
Пошли туда, где видел он
Освобожденье всех племен...

Так удивительно передал Сергей Есенин веру миллионов в Ленина... Но Есенин же потрясающе четко, честно, несентиментально сказал о наступлении новой эпохи:

И вот он умер...
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из медноалающих громадин
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.

Для них не скажешь:
«ЛЕНИН УМЕР!»
Их смерть к тоске не привела.
. . . .
Еще суровей и угрюмей
Они творят его дела...

Вот почему не мемориальный, но актуальный и острый смысл обрел вопрос: кем духовно был для нас Ленин? Какой нравственный завет оставил Ленин? «Твой человеческий социализм» — произнес, думая о Ленине, Маяковский. И с непримиримой резкостью противопоставил образ «самого человечного человека» вождистскому культу: «Неужели про Ленина тоже: «вождь милостью божьей»?» Это был бы не Ленин! И Маяковский прямо заявляет о том, что не принял бы культ такого вождя:

Если б
был он
царствен и божествен,
я б
от ярости
себя не поберег,
я бы
стал бы
в перекоре шествий,
поклонениям
и толпам поперек.

Вообразив такое, поэт в гневе готов произнести «слова проклятья громоустого»... Но это как будто бы лишь немыслимое видение... «Богу почести казенные не новость. Нет! Сегодня настоящей болью сердце холодей. Мы хороним самого земного изо всех прошедших по земле людей».

Отчего же беспокойство в сердце поэта? Провидческое беспокойство... И возникают, как клятва, нравственно-поэтические формулы, заповеди, которые мы помним с юности, но помним фрагментарно, вне бесстрашного контекста, а в нем дышат свобода и ответственность. Перечитаем знакомые строки, они так близки духу нашего времени... В слове поэта — чувство и мысль наших дней... Соизмерение, сотнесение с ленинской правдой...

Я себя
под Лениным чищу,
чтобы плыть
в революцию дальше.
Я боюсь
этих строчек тыщи,
как мальчишкой
боишься фальши.
Рассияют головою венчик,
я тревожусь,
не закрыли чтоб
настоящий,
мудрый,
человечий
ленинский
огромный лоб.
Я боюсь,
чтоб шествия
и мавзолеи,
поклонений
установленный статут
не залили б
приторным елеем
ленинскую
простоту.
За него дрожу,
как за зеницу глаза,
чтоб конфетной
не был
красотой оболган.
Голосует сердце —
я писать обязан
по мандату долга.

Значит, это задача не ритуальная, не поминальная, но государственная, державная. И личная, непреоборимая, отвечающая внутренней потребности, как и всенародной жажде ленинской правды.

Помните, Есенин в «Анне Снегиной»:

«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил:
«Он — вы».

Значит, народ и есть хранитель ленинского идеала. Когда-то Николай Клюев в стихотворении 1918 года «Ленин», вызвавшем долгую полемику, страстно утверждал родство старины и новизны:

Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в «Поморских ответах».

Мужицкая ныне земля,
И церковь — не наймит казенный,
Народный испод шевеля,
Несется глагол краснозвонный.

А позже, в 1927 году, в стихотворении «Корабельщики» Клюев «с пылающих страниц» возвестил о том, «как убаюкал на ладони грозовый Ленин боль земли...».

Откуда такой диапазон поэтического образа Ленина? Вспомним еще и «Сами» Николая Тихонова, где своеобразные представления индийского мальчика невероятно слиты с далеким, но родным «Ленни» в далекой, манящей Москве... Валерий Брюсов в стихотворении «Ленин» говорит о человеке, «кем изменен путь человечества, кем сжаты в один поток волны времен».

В связи с этим наш мыслитель, эстетик А. Ф. Лосев в книге «Проблемы символа и реалистическое искусство» отмечает, что «наиболее насыщенным символом в советской поэзии является образ Ленина», что в этом образе-символе мы находим «бесконечную перспективу множества всякого рода общественно-политических и культурно-исторических становлений».

Залог и исток этой бесконечной перспективы — ленинский величайший интеллект, ленинская «заряженность» волей истории и народа. Как раскрыть в поэзии, в искусстве этот феномен?.. Борис Пастернак в «Высокой болезни» (1923, 1928) изобразил, выразил саму действенную силу ленинского слова, ленинской мысли, воплощенную в живом облике гения. Поэт рассказывает о выступлении Ленина на IX съезде Советов в 1921 году, но не фотографически, а скорее, электрически, передавая образ человеческой энергии, собравшейся в одном лице. Вот появление Ленина, оно уже поразительно:

Все встали с мест, глазами втуне
Обшаривая крайний стол,
Как вдруг он вырос на трибуне
И вырос раньше, чем вошел.
Он проскользнул неуследимо
Сквозь строй препятствий и подмог,
Как этот, в комнату без дыма
Грозы влетающий комок.

Вслед за поэтическими, литературными портретами Ленина, которые создали Горький, Маяковский, Есенин, стремительная зарисовка Пастернака, безусловно, одна из самых блистательных, одна из самых увлеченных в нашей поэзии. «Ленин,— писал Пастернак,— был душой и совестью такой редчайшей достопримечательности, лицом и голосом великой русской бури, единственной и необычайной». И портрет Ленина, портрет почти кинематографический, движущийся, принимается нами как образ народной революции в ее не только стихийном, но и интеллектуальном могуществе:

Он был — как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет.
Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб
Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лузги.
И эта голая картавость
Отчитывалась вслух во всем,
Что кровью былей начерталось:
Он был их звуковым лицом.

И далее, столь же неостановимо, молниеносно портрет заключается глу-

бочайшим и естественным, единственным выводом:

Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому — страной.

Да, «и только потому — страной». Мы же, увы, свидетели и современники того, как в застойную пору иные деятели пытались управлять страной, не умея управлять «теченьем мыслей».

Думая снова и снова о Ленине, думая «без конца об авторстве его и праве дерзать от первого лица», поэт обозначает рубеж наступающей эпохи: «Предвестьем льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход».

Гений всегда народен, сказал другой поэт. Народность ленинского гения постоянно влекла к себе наших поэтов, художников. Ведь и в прощании с Лениным раскрылась душа народа, которую не исчерпать, не объяснить рационалистическими построениями. В горе перед всеми особенно пронзительно открылась душевная связь Ленина и России, гения и народа. Это непосредственное чувство, соединяющее народного вождя и простых людей.

Есть черта, присущая народу:
Мыслит он не разумом одним,—
Всю свою душевную природу
Наши люди связывают с ним.

Оттого прекрасны наши сказки,
Наши песни, сложенные в лад,
В них и ум и сердце без опаски
На одном наречье говорят.

Не случайно, должно быть, эти мудрые певучие слова произнесены в стихотворении, посвященном Ленину,— «Ходоки» Николая Заболоцкого (1954 год). Но само имя Ленина появляется только в конце стихотворения, всего один раз, а перед крестьянами-ходоками в Смольном — такой же труженик, как и они: «радушный их хозяин, человек в потертом пиджаке, сам работой до смерти измаян, с ними говорил накоротке...» Лишь в конце беседы «тяжелая тревога в трех сердцах растаяла, как сон», «и в руках стыдливо показались черствые ржаные кренделя». Хлеб — символ и детище жизни, земли, труда — соединяет гения и ходоков. И вот звучит итоговая строфа:

С этим угощеньем безыскусным
К Ленину крестьяне подошли.
Ели все. И горьким был и вкусным
Скудный дар истерзанной земли.

Перед нами символическая картина, относящаяся не только к минувшему, к первым годам революции. Николай Заболоцкий написал стихотворение «Ходоки» в дни, когда начала возвращаться ленинская правда. В 1956 году Александр Яшин говорит:

Стали мы внимательней и строже
Жизнь сверять с безмерностью мечты.
Все ясней с годами, все дороже
Ленинского облика черты.

Из всего, что ныне вспоминаем,
Возникает, как родник, чиста,
Не парадная, не напускная,
Человеческая простота.

«Ленинский облик» — не только внешний облик. Внешнее и внутреннее нераздельно. В своей простоте, глубине и чистоте ленинские черты противостоят парадности, фальши культа исключительной личности. Ибо подлинная простота — в единстве с народом, которое олицетворял Ленин во всем своем облике. Как будто бы известные ленинские черты напоминает поэт, но это напоминание выстрадано жизнью, продиктовано историей. Возвращение к Ленину — властная общественная потребность.

На миру, с народом повседневно,
Он и спорить, и шутить любил,
Был с людьми не просто задушевным —
сердцем до любого доходил.

Мог неслышно появиться в зале,
Где-то в крайнем посидеть ряду.
Ходоки его одолевали —
Всяк свою выкладывал беду.

Интонация сдержанная, неспешная, повествовательная, казалось бы... Но внутренне полемичная, страстная, таящая и горечь, и боль, и любовь...

Ненавидя ханжество отроду,
Презирая болтовню и спесь,
Он делил с народом хлеб и воду
И хвалился только тем, что есть...

Вот таким резким публицистическим выпадом против искажения ленинских заветов Александр Яшин в конце стихотворения меняет интонацию, дает волю едва сдерживаемому гневу правдолюбца, каким всегда был поэт...

Помните, долгое время мы видели на улицах плакат, с которого смотрел улыбающийся Владимир Ильич, а подпись гласила уже прямо от имени Ленина: «Верной дорогой идете, товарищи!»

Но не вернее ли нам спрашивать у Ленина, советоваться с Лениным, быть "ходоками" к Ленину... И в день памяти Ленина снова пережить печаль утраты, снова ощутить, как необходим Ленин. И услышать голос несмолкающей ленинской совести, ленинского очистительного сомнения...

Мы движемся из тьмы, как шорох кинолентин:
«Скажите, Ленин, мы — каких
Вы ждали, Ленин?!
Скажите, Ленин, где
победы и пробелы?
Скажите — в суете мы суть
не проглядели?..»
...
«Скажите, Ленин, в нас идея
не ветшает?»
И Ленин
отвечает.

На все вопросы отвечает Ленин.

Завершая так поэму «Лонжюмо», Андрей Вознесенский, конечно же, не пытается сформулировать эти ответы. И уж тем более выдать их за ответы гения... Ответы — в нашей ответственности перед настоящим и будущим, перед ленинским наследием, перед завещанным нам идеалом «человеческого социализма», как сказал Владимир Маяковский.

«Разговор с товарищем Лениным» продолжается. И мы не скрываем в этом разговоре с нашей совестью, что у нас еще «много разной дряни и ерунды», что «очень много разных мерзавцев ходят по нашей земле и вокруг». Но все-таки, по слову поэта, «работа адовая будет сделана и делается уже». И главное, главное неизменно:

«...Товарищ Ленин,
по фабрикам дымным,
по землям,
покрытым
и снегом
и жнивьем,
вашим,
товарищ,
сердцем
и именем
думаем,
дышим,
боремся
и живем!..»

Но снова и снова вопросы... Снова и снова память о морозных январских днях... Человек не должен изгонять из своих раздумий о Ленине ноту печали. Поэзия напоминает о том, что прощание с Лениным было великой народной драмой, рубежом героико-трагической эпопеи...

Снова и снова вглядываемся мы в знакомые, казалось бы, черты... Время пишет «недорисованный портрет» эпохи. Поэзия ведет к правде.



■

В последнее время меня стала раздражать пресса, в которой на все лады, от ультиматумов и угроз до сюсюканья и самобичевания описывается трудная и беспросветная жизнь части советского подрастающего поколения, а именно: неформалов, панков, рокеров, металлистов и т. д.

Набило оскомину словоблудие о том, «как трудно быть молодым». Какую газету ни откроешь, то там бедные панки, то сям, и как им трудно живется, и как им, беднягам, трудно ни черта не делать. Думается, что мы сами виноваты в том, что они есть. Но единственная ли это наша вина? Вспомним об обыкновенных детях, которым не трудно, о которых не пишут и не ставят фильмов. Вспомним о тех первоклашках, которые приходят со школы после восьми часов вечера с головной болью и вздрагивают во сне. А ведь по теории они должны еще почитать книжку, поучаствовать в домашнем труде, выучить уроки... А у бедняг сил нет даже поесть.

К десяти вечера любимое чадо еле доплетается до кровати. И немудрено, ведь позади езда в переполненных автобусах, с пудовыми ранцами за спиной, после пребывания в школе-гиганте с десятью первыми классами.

Ну, школьники еще тянут. А детсадовцы, ясельники, которым еще не трудно быть молодыми? Их истошные крики в транспорте, магазинах, поликлиниках способны довести до конвульсий. Неужели у нас в стране нельзя каждой школе, яслям или детсаду иметь свой автобус? На чем экономим? Ведь если поинтересоваться статистикой и динамикой детских неврозов, то невольно придем к мысли, что в каждой школе должен быть психотерапевт.

Где-то наверху продолжаются ристалища по школьной программе, а внизу, в школе, перегруженные детские головы и нервные системы. Упаси вас бог подумать, что у меня какие-то экстремистские взгляды по отношению к панкам. Нет, да и потом я уверен, что будущие панки-отцы не будут рассказывать о своих художествах своим же детям. Просто стыдно будет. А сейчас пусть спокойно болеют этим. И переболеют, и тем быстрее, чем меньше будем подогревать их своим вниманием. Давайте думать о тех, кого больше, кто сильнее страдает от нашего невнимания.

Чем больше мы дадим счастливого детства детям, тем меньше будет пены в молодежной среде в скором будущем. Нельзя экономить на детях. Вроде бы доказано, что это не сиюминутная выгода, это наше завтра и послезавтра.

А. Д. ПОНОМАРЕВ,
отец двоих детей
Таллин.

■

Посетите величественный Государственный музей Сталина в городе Гори, и тамошние экскурсоводы страстно расскажут вам: гений Сталина спас страну, весь мир от фашизма, определил судьбу социализма, коллективизации, индустриализации... Музей ежедневно обволакивает сотни и сотни туристов. Это памятник субъективизму, культу личности, здесь людям умышленно преподносится урезанная правда, ложь, замешанная на национализме. А сколько восторженных слов произносится экскурсоводами у памятника Сталину! Ловкие дельцы открыто продают самодельные фотоальбомы, портреты Сталина. В магазинах продаются красочные портреты генералиссимуса...

Вот и думаешь, не является ли все это глумлением над памятью сотен и сотен светлейших умов, поистине одаренных личностей, павших во времена культа Сталина? Почему в наше время гласности мы позволяем издеваться над истиной в Государственном музее сталинизма? Я не предлагаю проводить строгую аттестацию экскурсоводов этого горе-музея, добиться их объективности (им это не под силу), я предлагаю этот музей просто закрыть. Он хуже всякой церкви, цель которой — держать верующих во тьме.

В Гори рассказывают легенды о том, как грузины боролись за отстаивание памятника Сталину от сноса. С большим пафосом рассказывают! Нет, я не скажу, что его все-таки надо снести. Но как смотреть на 17-метровый памятник Сталину? На торжественном заседании в честь 70-летия Октября Михаил Сергеевич Горбачев ясно сказал: «Вина Сталина и его ближайшего окружения перед партией и народом за допущенные массовые репрессии и беззакония огромна и непростительна». Выходит, на него надо смотреть как на памятник монстру, палачу. Разве в этом «задача» любого памятника?

И. В. СОФРОНИЙ,
журналист
Бендеры.

■

Странное впечатление складывается от интервью Э. Климова («Огонек» № 2). Журналист подобострастно спрашивает, не обиделся ли тов. Климов на статью «Наши творческие планы», а тот, отвечая на вопрос, почему-то подменяет проблему, поднятую в статье. Оказывается, М. Дементьева против... международного сотрудничества кинематографистов.

У меня же сложилось впечатление, что М. Дементьева совсем не против зарубежных поездок наших кинодеятелей, а против их отхода от острых тем. В самом деле, мы ждали, что сейчас, когда есть все возможности, наши ведущие режиссеры расскажут о нашем времени честно и прямо. А выяснилось, что им интересно совсем другое.

Можно, конечно, поверить, что Глеб Панфилов, человек, снявший «Тему», все годы застоя мечтал снять «Мать». Что Никита Михалков все это время тайно лелеял мечту снять для итальянцев «Очи черные», это странное переложение Чехова в интуристовском варианте. Можно. Но я почему-то не верю. Чтобы снять эти фильмы, не надо было ждать перестройки.

Почему же они молчат сейчас? И что же «после»? Неужели окажет-

ся, что лучшие фильмы были сняты «до», когда было нельзя и художники платили за это кровью?

И еще. Конечно, право художника решать, где ему снимать и на какой пленке и аппаратуре. Плохо, что такая свобода становится привилегией избранных. И жаль, когда эти избранные — секретари Союза. То есть люди, на которых равняются, которым кинообщественность доверила защиту своих прав и интересов. А им оказалось интереснее выбивать пленку и аппаратуру — для себя. Вместо того чтобы выводить из чудовищного положения отечественное кинопроизводство, в котором остается работать остальная (основная) масса рядовых кинематографистов. И пока эта ситуация будет сохраняться, мы так и останемся в древнекаменном веке, с возможностью экспортировать исключительно интеллект.

Татьяна СЕМЕНОВА,
старший научный сотрудник
Москва.

■

Я не настолько наивен, чтобы поверить в напечатание этой реплики, но очень хочется спросить у Булата Окуджавы и Михаила Ульянова, чем кормят они своих собачек? Вероятно, мясом (и каким? Коммерческим, конечно!). Но ведь иная собачка сжирает до одного килограмма, а то и более. Их же миллионы вместе с кошечками. Так не мешало бы подсчитать, сколько недоедают люди этого самого мяса.

У нас нет специальных магазинов питания для животных, которые служили да и сейчас еще служат только как предмет для критики буржуазного мира. Но ведь там совершенно другие цены. А у нас одни собачки кушают по государственной, а другие, смотришь, по коммерческой цене. Если будете пересылать эту заметку одному из кошкострадальцев, то вот еще один дополнительный вопрос: а не завести ли нам талоны на питание для животных? Ну чем они лучше людей?!

Д. А. ВАЛИК,
пенсионер
Тирасполь Молдавской ССР.



Наш адрес:
101456, Москва,
Бумажный проезд, 14

КОМУ УЛЫБАЛСЯ БЛОК?

Полемические заметки

Бенедикт САРНОВ

1.

ЛЕТ, НАВЕРНОЕ, УЖЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТОМУ НАЗАД В «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ», ГДЕ Я ТОГДА РАБОТАЛ, БЫЛО НАПЕЧАТАНО НЕБОЛЬШОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ АХМАТОВОЙ:

И, в памяти черной пошарив, найдешь
До самого локтя перчатки,
И ночь Петербурга. И в сумраке лож
Тот запах и душный, и сладкий.

И ветер с залива. А там, между строк,
Минуя и ахи и охи,
Тебе улыбнется презрительно Блок —
Трагический тенор эпохи.

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ НЕГОДУЮЩЕЕ ПИСЬМО. СТИХОТВОРЕНИЕ ЭТО ВОЗМУТИЛО АВТОРА ПИСЬМА ТЕМ, ЧТО В НЕМ, ПО ЕГО МНЕНИЮ, «ИСКАЖЕН ОБРАЗ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА АЛЕКСАНДРА БЛОКА». ПО ЕГО ГЛУБОКОМУ УБЕЖДЕНИЮ, БЛОК НЕ МОГ УЛЫБАТЬСЯ ПРЕЗРИТЕЛЬНО. «НЕТ! — ГНЕВНО ВОСКЛИЦАЛ ОН.— НЕ ТАК УЛЫБАЛСЯ НАШ ВЕЛИКИЙ ПОЭТ!»

Редакция в этом споре решительно приняла сторону Ахматовой. Автору было отправлено письмо, в котором его старались уверить, что Блок, как и всякий живой человек, мог улыбаться по-разному, в том числе и презрительно. И что ничего обидного для Блока в этой строчке Ахматовой нет. В заключение в этом редакционном ответе говорилось: «Как бы то ни было, следует всетаки признать, что Блок улыбался ей, а не вам».

Мы все в редакции были очень довольны этим ответом. И весело потешались над чересчур бдительным читателем, которого мы так остроумно «поставили на место».

Вспоминаю еще такой случай. Среди редакционной почты попалось письмо, автор которого до глубины души был возмущен тем, что в нашей газете ругали какую-то книжную новинку, а в газете «Литература и жизнь» ту же книгу хвалили.

Помню, в тот раз мы еще сильнее потешались над читателем, который не может даже вообразить, что по одному и тому же вопросу у разных газет могут быть два разных и даже противоположных мнения.

Мы смеялись над такими читателями. А надо было бы задуматься. И принять на себя хоть малую толику ответственности за то, что читатели наши оказались такими, какими они представали перед нами в этих и других подобных письмах.

В повести И. Грековой «На испытаниях» промелькнул такой эпизодический персонаж — молоденький шофер Игорь Тюменцев, отчаянный книгочей. Книжек Тюменцев читал много и каждую, прочитав, заносил в список с краткими замечаниями. Например: «Книга не до конца правдивая, в жизни так не бывает». Или: «С образом Нюры не согласен».

Автор знакомит нас с Игорем Тюменцевым в тот день, когда тому попалась книга Виктора Гюго «Человек, который смеется».

Поздно вечером, засыпая, Игорь думает о том, как он завтра запишет в свою тетрадь отзыв об этой книге.

«Даже фразу придумал: «Исключительно правдивая, волнующая книга, хотя эпоха не совсем современная». Хотелось ему еще придумать фразу, в которой было бы слово «в разрезе», это слово он недавно слышал у одного очень культурного лектора и запомнил, чтобы употребить. Но фразы такой у него не получилось, и он просто стал припоминать и воображать, как там, в книжке, все это было. Особенно его поразили компрачикосы, которые людей растили в каких-то особенных кувшинах, и человек вырастал уродом, по форме кувшина. Страшно, должно быть, в таком кувшине сидеть — вот растешь-растешь, не замечаешь и принимаешь форму. Тюменцеву даже не по себе стало...»

История, рассказанная Виктором Гюго, заставила Игоря содрогнуться. Но вряд ли ему пришло в голову, что в каком-то смысле и он сам тоже растет в таком «особенном кувшине», незаметно для себя принимая его форму.

Ведь все эти готовые формулы «в жизни так не бывает», «не согласен с образом Нюры», так восхитившее Игоря выражение «в разрезе», которое он «слышал у одного очень культурного лектора и запомнил, чтобы употребить»,— все это (и еще многое другое) идет не от самого Игоря, не от природы его, не от живого воображения, заставившего его поежиться при мысли о жертвах компрачикосов. Все это — результат (пока еще вполне невинный) пребывания в том «особенном кувшине», в котором растет, формируется, незаметно принимая его форму, душа Игоря Тюменцева.

Игорю, может быть, еще и повезет. Но не каждому дано хоть голову высунуть наружу из этого «кувшина». Вот и вырастают такие читатели, над письмами которых мы в свое время так потешались. (А иногда и пострашнее тех: свидетельством тому многие письма, появляющиеся сейчас на страницах «Огонька», других газет и журналов.)

Тот «особенный кувшин», в котором долгие годы мы растили своего читателя, создался не сразу. В создании его принимали участие многие учреждения и организации: школа, печать, тот самый лектор, у которого Игорь Тюменцев подслушал так понравившееся ему словечко «в разрезе».

Но я сосредоточусь только на одном из цехов того гигантского завода, где создаются эти самые «кувшины». Во-первых, потому что надо держаться своей темы, а во-вторых, потому что сам к этому цеху принадлежу.

2.

Борис Слуцкий любил огорошить при встрече вопросом, который задавался обычно непререкаемым офицерским тоном:

— Что пишете?

— Так... одну статью...

И тут неизменно следовал новый «офицерский» вопрос:

— Против кого?

Вопрос (хоть он и пародировал невольно знаменитый вопрос Остапа Бендера: «В каком полку служили?») задавался отнюдь не в шутливом, а в самом что ни на есть серьезном тоне. И вкладывался в него вполне серьезный смысл. Дело было не только в том, что, по глубокому убеждению Слуцкого, хорошим критиком следовало считать того, кто хвалит хороших писателей и ругает плохих. Неизменный вопрос этот объяснялся еще и тем, что в те времена (а было это в конце 50-х), что ни день, то появлялась новая статья, нацеленная против тех, кто вошел — либо вернулся — в литературу «на волне» XX съезда.

Особенно крепко доставалось таким писателям, как Исаак Бабель, Борис Пильняк, Иван Катаев, Артем Веселый, Осип Мандельштам. (Если выйти за рамки литературы, обязательно надо добавить к этому списку Всеволода Мейерхольда.) Общий смысл нацеленных в них критических статей сводился к тому, что убили их, конечно, зря. Убивать, безусловно, не стоило. А вот поднимать их сейчас на щит, «некритически», как тогда говорилось, принимать все их творчество — тоже не годится. От такого «некритического» отношения к только что реабилитированным художникам могут, мол, проистечь неисчислимые беды для нашей литературы и нашего искусства. И вот критики (не все, разумеется) старательно и вдохновенно соревновались друг с другом, отыскивая у реабилитированных писателей всевозможные грехи, дабы все твердо усвоили, что гражданская их реабилитация ни в коем случае не означает реабилитации политической и тем более художественной. Конечно, японским шпионом Бабель не был. Но можно ли тем не менее считать, что писатель этот вполне «наш»? Вот как ставился вопрос. И, разумеется, не только по отношению к Бабелю.

Таким образом, вопрос «против кого» написана та или иная статья, имел, в те годы особый, очень определенный смысл. Он был подобен знаменитому горьковскому: «С кем вы, «мастера культуры»?». Он, в сущности, означал: по душе или не по душе тебе все те перемены, которые принес с собою XX съезд.

Я вспомнил все это, прочитав статью Владимира Бондаренко «Очерки литературных нравов. Полемические заметки» («Москва» № 12, 1987 год). Статья весьма пространная. Распадается она на несколько (шесть) разделов, озаглавленных — «Сюжет первый», «Сюжет второй» и т. д. Пересказать все эти «сюжеты» было бы довольно затруднительно. Но в этом и нет никакой нужды. Все сразу станет ясно, едва только мы взглянем на эту статью, прибегая — для простоты,— к той самой формуле Слуцкого.

Итак, п р о т и в к о г о эта статья? Какие имена, какие художественные явления вызывают у автора желание высказаться о них критически, поставить их, так сказать, на место, чтобы, не дай бог, на волне возникшего общественного энтузиазма не проглядели в каждом из них какую-нибудь червоточинку?

Вот эти имена. Вот художественные явления, вызывающие у автора статьи явную неприязнь... Ну, если не неприязнь, то, во всяком случае, желание окрикнуть: «Осади назад!»

Роман Александра Бека «Новое назначение». Роман Владимира Дудинцева «Белые одежды». Роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». Роман Даниила Гранина «Зубр». Фильм Алексея Германа «Проверка на дорогах». Пьесы Михаила Шатрова «Диктатура совести» и «Брестский мир». Пьесы Людмилы Петрушевской...

Пожалуй, примеров хватит. Все ясно.

Об иных из этих произведений лаконично и пренебрежительно говорится, что это «скорее событие общественное, чем литературное». Другие удостаиваются более развернутой критической отповеди.

Достается не только современникам, но и тем, чьи имена лишь недавно стали вновь упоминаемыми. Вот, скажем, Федор Раскольников, о трагической судьбе которого недавно узнали читатели «Огонька». О нем в статье В. Бондаренко сказано так:

«Имя Ф. Раскольникова сразу ввели в ряд новых имен единомышленников — Вс. Иванов, О. Мандельштам, В. Полонский, А. Воронский, Б. Пастернак и так далее. Но ведь он же из другого ряда — рапповских громителей литературы, сподвижник Л. Авербаха».

Никто, сколько мне помнится, пока еще не ставил имя Ф. Раскольникова в один ряд с именами Мандельштама и Пастернака. Но разве это интересует автора статьи? У него ведь цель совсем другая: бросить тень на человека, только что воскресшего из небытия. Не увлекайтесь, мол, товарищи! Японским шпионом не был, совсем вычеркнули из жизни и литературы, быть может, зря. Но человек-то был — не наш. Во всяком случае, не вполне наш...

Осторожно (очень осторожно! Иначе теперь нельзя!) брошена тень на публиковавшиеся в последнее время в журналах произведения М. Булгакова:

«Думаю, Михаилу Булгакову не по себе стало бы от нынешней суетливости вокруг его имени. Сколько его произведений, далеко не равноценных, выброшено на журнальный рынок этого года! Более правы были те, кто предлагал печатать неопубликованное наследие в книгах, минуя журналы. Тогда бы не было той «дьяволиады», творящейся сегодня вокруг прекрасного русского писателя XX века, не было бы той дешевой спекуляции на его имени, которую сегодня вершат современные чичиковы и швондеры».

На какие произведения М. Булгакова, «выброшенные на журнальный рынок этого года», намекает В. Бондаренко? Может быть, на «Собачье сердце»? Кто эти таинственные «чичиковы и швондеры», спекулирующие на имени «прекрасного русского писателя»?

Не будем гадать. Вернемся к нашим современникам.

Конечно, у каждого из тех, с кем «воюет» В. Бондаренко,— своя судьба. И люди это разные, и писатели разные. Между Михаилом Шатровым и, скажем, Людмилой Петрушевской общего, наверно, не больше, чем между Борисом Пастернаком и Федором Раскольниковым.

И тем не менее есть нечто, объединяющее все эти имена.

Объединяет их то, что, если бы не перемены, происшедшие в стране за последние два года, книги их — какими бы разными они ни были — так и остались бы рукописями. Фильмы продолжали бы пылиться на полках. Пьесы так и не увидели бы театральных подмостков.

Так вопрос, «против кого» написана статья Владимира Бондаренко, естественно видоизменяется, превращаясь в другой, более общий: не «против кого», а «против ч е г о» выступает этой своей статьей автор.

3.

Выступает он против перестройки.

То есть на словах-то он, конечно, всей душой — «за!»... Хотя, как сказать. «За»-то — «за», но лишь до тех пор, пока дело не доходит до литературы.

«На мой взгляд, перестройка в литературе должна касаться прежде всего журнально-издательского процесса,— прямо говорит он.— Иными словами, должны пересматриваться производственные отношения. Издательские планы на пятилетие и даже до двухтысячного года должны уйти в прошлое, должны быть упрощены все процедуры обращения с рукописью». И т. д.

А что касается писателей, то они, по убеждению В. Бондаренко, перестраиваться не должны: «Куда перестраиваться В. Распутину или В. Астафьеву, В. Быкову или Ю. Кузнецову?»

Эту свою центральную идею он развивает так:

«Даже в самые сложные периоды нашей истории не перестраивались А. Платонов и М. Булгаков, М. Пришвин и Н. Клюев, Б. Пастернак и Н. Эрдман. Не менее известен ряд перестройщиков. К примеру, И. Эренбург, соответственно диктату ситуации менявший свои взгляды, стиль письма, отношение к литературе и литераторам. То «Бурные дни Лазика «Ройтванеца» (так у В. Бондаренко. Правильно — «Ройтшванеца».— **Б. С.**) и ранний вариант «Хулио Хуренито...», то «Падение Парижа» и «Буря», затем опять (???) «Оттепель» и «Люди, годы, жизнь». Даже за время написания мемуаров он менял свои взгляды по отношению к прозе Пастернака, к молодым писателям шестидесятых годов. Не менее «сложным» был путь и у Валентина Катаева. Даже в последний период жизни пропасть разделяет повести «Уже написан Вертер» и «Алмазный мой венец». Я намеренно выделяю талантливых мастеров из перестройщиков, ибо серым виртуозам сиюминутности несть числа».

Как видим, для В. Бондаренко понятие «перестройка» применительно к писателю совершенно тождественно понятию «приспособленчество». «Перестраиваться» в его понимании — значит уметь быстро менять свои взгляды, приспосабливая их к изменившейся политической конъюнктуре.

Для настоящего писателя это действительно невозможно. Однако у В. Бондаренко в разряд конъюнктурщиков попадают не только «серые виртуозы сиюминутности», но и «талантливые мастера». Объясняется это тем, что он любую эволюцию писателя, чем бы она ни была вызвана, любую перемену в его творческой судьбе отождествляет с приспособленчеством.

Нельзя сказать, чтобы он был тут особенно оригинален. Такие суждения уже высказывались, и не раз. Вот, например, совсем недавно в том же смысле высказался Вадим Кожинов («Наш современник» № 10, 1987 г.).

Он тоже ведет борьбу с «приспособленцами». Выступает у него в этой роли тот же В. Катаев. Но вместо Эренбурга — Юрий Трифонов.

Обвинив этого писателя в том, что тот в давней своей повести «Студенты» якобы воспел известную идеологическую кампанию 40-х годов против космополитизма, а четверть века спустя, в 1973 году, в своих воспоминаниях о Твардовском назвал эту же кампанию проявлением «рассчитанного и циничного хамства», В. Кожинов далее не без сарказма замечает:

«Стоит отметить, что Трифонов продолжал «меняться» и после своего мемуара о Твардовском. Это ясно видно в его последней книге «Старик» (1978) — особенно в сценах террора в донских станицах. В этой книге он в сущности переписал заново свою же изданную в 1966 году книгу «Отблеск костра», оценив те же события совершенно по-иному («опыт» подобного «переписывания» не столь уж уникален: так, Валентин Катаев в повести 1982 года «Уже написан Вертер» как бы перевернул наизнанку свою повесть 1967 года «Трава забвенья»)».

Многое можно было бы сказать по поводу всех этих обвинений.

Можно было бы сказать, например, что никакого «раннего варианта» романа Эренбурга «Хулио Хуренито» не существует. Просто в 60-е годы, когда выходило собрание сочинений Эренбурга, автор в ы н у ж д е н был опубликовать этот свой давний роман без одной главы.

К этому можно было бы добавить, что между «Хулио Хуренито» и «Бурей» были у Эренбурга такие книги, как «Жизнь и гибель Николая Курбова», «Рвач», «В Проточном переулке», «День второй», и многие другие, знакомство с которыми показало бы автору статьи, что Эренбург «менял свои взгляды, стиль письма» не «соответственно диктату обстоятельств», а по той простой причине, что жил он в сложное, бурное, меняющееся время и, как всякий писатель, старался по мере сил это время отразить. При этом менялся он сам и, естественно, менялся его художественный почерк. Между «Хулио Хуренито» и «Бурей» были ведь не только книги. Была гражданская война в Испании. Была Отечественная война, в которой — нравится это Владимиру Бондаренко или не нравится — Эренбургу суждено было сыграть свою, особую роль.

Можно было бы сказать и о том, что создаваемый Владимиром Бондаренко миф о писателях, которые «никогда не перестраивались», так же далек от реальности, как и создаваемый им миф о «талантливых перестройщиках» — Катаеве и Эренбурге.

Вот, скажем, Николай Эрдман. Написав в молодости остро социальные пьесы «Мандат» и «Самоубийца», получив за это несколько увесистых затрещин и побывав в местах, как говорили в старину, не столь отдаленных, он так и не оправился от этого удара, н а в с е г д а ушел от серьезной драматургии и весь остаток жизни сочинял (или участвовал в сочинении) сценариев для развлекательных кинокомедий — «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Смелые люди», «Спортивная честь» и т. п. Фильмы эти просто не соотносятся в нашем сознании с именем автора «Мандата» и «Самоубийцы». Поэтому можно, конечно, считать, что Эрдман «не перестраивался». Он просто перестал быть самим собой.

Можно было бы сказать, что между повестями Катаева, входящими в тетралогию «Волны Черного моря», и, скажем, «Святым колодцем» — действительно п р о п а с т ь. Но разве не такая же пропасть между «Записками юного врача» М. Булгакова и «Мастером и Маргаритой»? И разве не такая же (не «такая же» — гораздо большая!) пропасть между книгами Пастернака «Сестра моя — жизнь», «Темы и вариации», «Детство Люверс» — и «Доктором Живаго» или такими его стихами, как «Быть знаменитым некрасиво...», «В больнице», «Зимняя ночь», «Свидание», «Гефсиманский сад»... Пропасть лежит даже между двумя автобиографическими книгами Пастернака — «Охранная грамота» (1931) и «Люди и положения» (1956) — пропасть не только стилистическая, но и идейная. Спустя 25 лет Пастернак решил заново переписать свою жизнь. В частности, свои отношения с Маяковским, в которого, если верить «Охранной грамоте», он в юности был влюблен, перед которым благоговел и к которому,— если верить «Людям и положениям»,— всегда относился крайне настороженно и даже неприязненно.

Можно было бы сказать (и очень легко доказать), что Юрий Трифонов в «Старике» вовсе не «переписал зано-

во» свою же повесть «Отблеск костра». А вот то, что уже описанные им однажды события писатель оценил по-иному,— это правда. Так же, как события, описанные в повести «Студенты», он спустя четверть века совершенно поиному осмыслил и изобразил в «Доме на набережной». Но, указав на это обстоятельство, надо бы не упрекать Трифонова в том, что он переменился, а, наоборот, радоваться, что писатель не стоял на месте, менялся, и менялся к лучшему, двигаясь к все более глубокому и правдивому осмыслению жизни.

Не меняется только тот писатель, который превратился в «священную корову», в рантье, живущего на «капитал», добытый им давным-давно, в те времена, когда он еще жил и творил, то есть действительно был писателем.

Настоящий писатель всегда «перестраивается», это для него не очередная установка, а органическая внутренняя потребность, главное условие его существования. И чем крупнее личность писателя, тем поразительнее масштаб этой его внутренней перестройки. Достаточно вспомнить Гоголя. Или Толстого, который так далеко ушел от своих старых книг, что даже сказал однажды (Мечникову), что просто не помнит сюжет «Анны Карениной».

«Говорят, что человеку стыдно меняться,— сказал он в другой раз.— Какая чепуха! Стыдно не меняться!»

Много чего еще можно было бы тут вспомнить, назвать, перечислить.

Но я хочу сказать о другом.

4.

Есть такая история про Мандельштама.

Однажды к нему пришел молодой поэт, читал стихи, а потом стал жаловаться, что его не печатают.

Мандельштам выгнал жалобщика. Кажется, даже спустил его с лестницы. И, распахнув дверь, кричал ему вслед:

— А Гомера печатали?!. А Будду печатали?!. А Иисуса Христа печатали?!.

Это не было ни взрывом безумия, ни проявлением столь свойственного поэтам чудачества. В этом странном на первый взгляд поступке Мандельштама — глубокий смысл.

Максимилиан Волошин выразил это в более спокойной форме:

Почетно быть твердимым наизусть
И списываться тайно и украдкой,
При жизни быть не книгой,
А тетрадкой...

А вот как сказал об этом Владимир Маяковский:

Я знаю силу слов, я знаю слов
набат.
Они не те, которым рукоплещут
ложи.
От слов таких срываются гроба
шагать четверкою своих дубовых
ножек.
Бывает, выбросят, не напечатав,
не издав.
Но слово мчится, подтянув подпруги,
звенит века, и подползают поезда
лизать поэзии мозолистые руки.

Выходка Мандельштама не может никого удивить. То, что он,— гонимый, не печатавшийся (за десять лет, с 1928 года до последнего ареста, он опубликовал всего лишь три стихотворения), то, что он предпочитал непечатавшихся поэтов тем, кого печатают,— понятно и даже естественно.

Понятна и позиция Волошина, тоже не больно хорошо вписавшегося в советскую поэзию 20 — 30-х годов.

Но Маяковский! Кто другой, но уж он-то не был обделен официальным признанием. Он читал в Большом театре свою поэму «Владимир Ильич Ленин», а в ложе сидел Сталин, аплодировал... И вот он тоже говорит, что настоящие стихи — «не те, которым рукоплещут ложи». Он тоже мечтает сочинить что-нибудь такое, что — «выбросят, не напечатав, не издав»...

Я это не к тому, что печататься плохо, что поэт или писатель, которого не печатают, непременно окажется лучше, талантливее, подлиннее тех, кого печатают.

Речь совсем о другом. О том, что настоящий писатель пишет, потому что не может не писать. И он будет делать это свое дело независимо от того, есть у него шанс опубликовать написанное или нет.

Вот несколько строк из письма Грибоедова к Вяземскому от 21 июня 1824 года:

«Любезнейший князь, на мою комедию не надейтесь, ей нет пропуску; хорошо, что я к этому готов был, и, следовательно, судьба лишнего ропота от меня не услышит...»

Каждый настоящий писатель всегда внутренне готов к тому, что напечатать книгу, над которой он работает, может быть, и не удастся. Это, конечно, не способствует хорошему настроению и нормальному творческому состоянию. Но тот, кто в этих обстоятельствах отложит в сторону свой любимый труд и возьмется за другой, более надежный, более «проходимый» (или, как теперь говорят, «публикабельный», этим своим поступком сразу распишется в том, что он — не настоящий писатель.

Миллионы людей зачитываются сейчас книгами Булгакова — «Театральным романом», «Мастером и Маргаритой», «Собачьим сердцем». Не всем при этом приходит в голову, что автор так и не увидел эти свои книги напечатанными. Да и писал их, не слишком надеясь опубликовать при жизни.

Роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» был арестован. На такую крайнюю меру писатель, быть может, и не рассчитывал. (Хотя кто знает?) Но в том, что роман его не скоро дойдет до читателя он, я думаю, не сомневался.

Точно так же, не слишком рассчитывая на быструю публикацию, писал Фазиль Искандер своего «Сандро из Чегема» и Андрей Битов свой «Пушкинский дом».

В новогоднем номере «Литературной газеты» опубликованы мнения писателей о минувшем литературном годе. Вот как высказался на эту тему Василий Белов:

«Мне кажется, в литературе ничего такого особенного не произошло. Меня не взволновали ни громкие ретроспективные публикации, ни публикации новинок».

Дико слышать из уст русского писателя, что его не взволновали впервые опубликованные на родине «Котлован» Платонова, «Собачье сердце» Булгакова, «Реквием» Ахматовой, стихи Ходасевича, Гумилева, Георгия Иванова, «Погорельщина» Клюева.

Да и среди «новинок» тоже было много такого, что не должно было бы оставить его равнодушным.

Сейчас тиражи многих наших толстых журналов выросли вдвое, а то и втрое. Нет никаких сомнений в том, что это произошло благодаря тому, что в них стали печататься такие романы, повести, рассказы, стихи и поэмы, которым раньше, как выразился Грибоедов в письме к Вяземскому, «не было пропуску». Читатели рвали из рук, записывались в очередь на журналы, в которых были напечатаны «Новое назначение» Александра Бека, «Ночевала тучка золотая» Анатолия Приставкина, «Белые одежды» Владимира Дудинцева, «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, «Смиренное кладбище» Сергея Каледина, не публиковавшиеся прежде стихи Бориса Слуцкого и Ярослава Смелякова, Владимира Корнилова и Николая Тряпкина, Бориса Чичибабина и Семена Липкина, Евгения Рейна и Инны Лиснянской.

Ни у кого не было сомнений, что появление всех этих вещей в печати — прямой результат тех перемен, которые произошли в жизни страны, прямой результат того, что мы называем перестройкой. Но перемены произошли недавно. Лишь год-два тому назад вдруг стало «можно» то, что раньше было «нельзя». И на читателя вся эта лавина повестей, романов, стихов словно упала с неба.

Вот тут бы и задуматься: а откуда все эти книги вдруг появились? Большой роман в год и даже в два года не напишешь. Чтобы написать такую книгу, как «Дети Арбата» или «Белые одежды», надо было задумать ее и реализовать свой замысел еще в те времена, когда такую книгу не то что напечатать было невозможно, но даже и сильно схлопотать за нее можно было,— так, как «схлопотал» за своего «Доктора Живаго» Пастернак, как дорого расплатился за свой роман «Жизнь и судьба» Василий Гроссман.

Так, может быть, прав Владимир Бондаренко, говоря, что настоящим писателям нет никакой необходимости перестраиваться? И прав, может быть, кинорежиссер Станислав Ростоцкий, который во всеуслышание заявил недавно, выступая по телевидению, что, дескать, нам, кинорежиссерам, перестраиваться не надо? Мы, мол, и раньше выражали себя в своих фильмах, и впредь будем делать то же самое.

Может быть, в высказываниях такого рода и впрямь содержится какая-то сермяжная правда?

Нет, не содержится. Потому что за всеми суждениями такого рода лежит подспудное желание, чтобы в искусстве нашем и в литературе ничего не менялось. Пусть, мол, все идет, как шло. Тот, кто раньше был хорош, и сейчас будет хорош. А все прочие — конъюнктурщики и приспособленцы, от которых в искусстве никогда не было и не будет никакого толку. Что с перестройкой, что без нее.

В действительности, однако, дело обстоит гораздо сложнее.

Перестройка — это прежде всего резкое изменение, обновление социальной атмосферы. А социальная атмосфера — это и есть тот «особенный кувшин», в котором человек рос, незаметно принимая его (кувшина) уродливую форму. И тут надо сказать, что печальная ситуация эта оказывала свое мощное уродующее воздействие не только на читателей, но и на писателей.

Честь и слава, конечно, тем художникам, у которых достало сил, как у пушкинского князя Гвидона, поднатужиться и сломать «кувшин», вышибить из него дно и — «выйти вон». Но ведь не каждому это дано. Да и самые крупные из писателей, которым пришлось жить и творить в так называемый застойный период нашей истории,— кто знает, может быть, и они тоже были бы другими, если бы посчастливилось им формироваться в другой социальной и общественной атмосфере.

А что касается тех, у кого хватает бесстыдства говорить, что происходящие перемены их «не волнуют», то они тем самым расписываются в том, что «в кувшине» им жилось вполне уютно. Может быть, даже комфортнее, чем на воле.

Перестройка необходима нашему искусству как воздух. Необходима не потому, что она предлагает подстраиваться к ней, а потому, что она каждому художнику дает возможность внутренне освободиться, стать самим собой.

Наивно думать, что быть самим собой — такое простое и легкое дело. Самим собой надо стать. Толстой записал однажды в дневнике, что каждый человек должен выработать свою совесть. Чехов говорил, что надо всю жизнь по капле выдавливать из себя раба. Тем, кто думает, что к ним это не относится, нечего делать в искусстве, в литературе.

Юрий Трифонов, написавший в молодости повесть «Студенты» и получивший за нее высшую в то время литературную премию, казалось, мог быть собою доволен. Но он сумел стать другим. «Некоторые молодые литераторы, я встречал таких,— говорил он в одном из своих интервью,— были убеждены в том, что был какой-то Юрий Трифонов, который когда-то написал каких-то «Студентов», и есть другой Юрий Трифонов, который работает сегодня. Может быть, они и правы!» Он сам, таким образом, признал, что стал другим человеком. На самом же деле он стал самим собой.

Я вовсе не хочу сказать, что последние книги Юрия Трифонова — такие, как «Дом на набережной», «Предварительные итоги», «Другая жизнь», «Старик»,— должны быть вне критики. (Так же, как книги И. Эренбурга, В. Катаева, А. Рыбакова, Д. Гранина, В. Дудинцева, А. Бека, М. Шатрова и др.)

Но статьи Вадима Кожинова и Владимира Бондаренко — это ведь не критика. Это — совсем другое.

5.

Одна из глав (или, как он их называет,— «сюжетов») статьи В. Бондаренко начинается так: «Существуют или по крайней мере должны существовать этические нормы, считаться с которыми литератор обязан».

И непосредственно за этой фразой следует такая:

«Скажем, А. Мальгин, специализирующийся на низкопробных скандальчиках...»

О Н. Эйдельмане он отзывается в таких выражениях:

«В прошлом столетии дворяне бы вызвали подобного провокатора на дуэль, а чеховские интеллигенты никогда не подали бы ему руки и отказали от дома».

Будучи тонким знатоком дворянского кодекса чести, а также правил поведения, принятых среди чеховских интеллигентов, В. Бондаренко такие выпады позволяет себе только по отношению к мужчинам. С дамами он корректен. Вот, например, в каких изысканных выражениях говорит он о писательнице Татьяне Толстой:

«...Молодой литератор Т. Толстая, автор сентиментальных «дамских рассказов», напоминающих салонную прозу...»

Обвинив Т. Толстую во многих смертных грехах, провокатором он ее все-таки не назвал. А ведь это его любимое слово. Временами даже приходит в голову мысль, что других слов для критических оценок В. Бондаренко просто не знает:

«Писательская общественность не осудила эту грязную провокацию...»

«Самой по-гапоновски ударной оказалась концовка редакционной статьи в «Огоньке»...»

«Откуда жажда провокаций?»

«Такая безответственность, какую проявил «Огонек», недопустима в нормальном демократическом обществе. Иначе как «передовым мракобесием»... его не назовешь».

Чувствуется, что автор писал это в минуту сильного душевного волнения. А может быть, такова вообще прямая, открытая, нелицеприятная манера этого критика? Может, это он со всеми так? Нет, не со всеми. Есть литераторы, о которых В. Бондаренко отзывается весьма почтительно.

«Именно в «Нашем современнике» удачно соединились,— рассыпается он в комплиментах,— былая новомировская проза (В. Белов, В. Шукшин, В. Астафьев, Г. Троепольский и другие) и былая молодогвардейская критика (В. Чалмаев, М. Лобанов, П. Палиевский, В. Кожинов и другие)».

Само собой, критик волен выбирать себе любимых и нелюбимых писателей. Хорошо бы только свои эстетические симпатии и антипатии как-то аргументировать. Но аргументами В. Бондаренко себя не утруждает.

Чего, кстати, никак не скажешь о Вадиме Кожинове. Тот все-таки старает-

ся справедливость своих художественных концепций и вкусов как-то доказать.

Доказывает он это таким образом: «В 1943—1945 годах Е. Старикова вместе с теми молодыми людьми, которые и составили ее «мы», училась в Московском университете, а Ю. Трифонов — в Литературном институте; между тем их ровесник В. Астафьев в эти самые годы, обливаясь потом и кровью, шел, а чаще полз на Запад, чтобы — в частности — перестали гореть печи Освенцима и Дахау, о которых говорит теперь Старикова. После войны он стал рабочим на уральском заводе. В это время (1946—1953) Е. Старикова вместе со своим «мы», как она сама вспоминает, долго и громко кричала «ура» и, между прочим, печатала хвалебные отзывы о романах, помпезно изображавших коллективизацию, а Ю. Трифонов сочинял громивших «космополитизм» «Студентов»...

В. Астафьев ни тем, ни другим не занимался, ибо его сознательная жизнь началась в 30-х годах не в каком-нибудь «доме на набережной», но на краю света, в Игарке, куда он был ребенком этапирован вместе со своей быстро таявшей семьей как «внук кулака» («Наш современник» № 10, 1987).

До сих пор литературоведение сильно уступало точностью измерений изучаемого объекта таким наукам, как физика, химия, биология. Теперь, наконец, и у литературоведов появился надежный, а, главное, объективный критерий. Наконец-то кончатся все эти бесконечные споры о том, кто лучше понял и правдивее изобразил российскую действительность. Скажем, Чернышевский или Салтыков-Щедрин? Достаточно будет только напомнить, что Чернышевский учился в Саратовской духовной семинарии, а Салтыков — в Царскосельском лицее. Что Чернышевский сидел в Петропавловской крепости почти в то самое время, когда Салтыков исполнял должность вице-губернатора в Рязани. Или вот, скажем, Сервантес и Томас Мор. Раньше мы блуждали в потемках, не зная, как определить, кто из них выше как художник и мыслитель. Теперь дело, наконец, прояснилось: Сервантесу-то отрубили всего лишь руку, а Томасу Мору — голову!

Что говорить! Вадим Кожинов, конечно, гораздо изобретательнее Владимира Бондаренко. Но цель у них — одна: поделить всех писателей на «чистых» и «нечистых». Вернее, на «своих» и «чужих». Своих — вознести до небес, а чужих — втоптать в грязь. В крайнем случае, бросить на них какую-то тень. Говоря проще, искусственно навязать читателю, как это делалось в прежние времена, свою обойму, свой табель о рангах.

На этом, пожалуй, можно было бы и кончить.

Остается только объяснить, почему в названии этой моей статьи поминается Блок, хотя в самой статье о Блоке — почти ни слова. Чтобы уж поставить все точки над и, напомню один из «Четырех отрывков о Блоке» Бориса Пастернака:

Кому быть живым и хвалимым,
Кто должен быть мертв и хулим,—
Известно у нас подхалимам
Влиятельным только одним.

Не знал бы никто, может статься,
В почете ли Пушкин иль нет,
Без докторских их диссертаций,
На все проливающих свет...

Но с Блоком, говорит далее поэт, вышло иначе:

Прославленный не по программе
И вечный вне школ и систем,
Он не изготовлен руками
И нам не навязан никем.

Не навязан никем! В этом всё дело.

ПАЛИТРА

ЖИВОЙ ТАЛАНТ

Среди имен выдающихся художников девятнадцатого века не встретишь имени Николая Егоровича Сверчкова. И действительно, картины, подобной «Последнему дню Помпеи», он не создал. Если представить на миг полотно, где бы изображались художники девятнадцатого века, то Сверчков стоял бы сбоку, фоном для звезд первой величины. Но именно такие художники, как Сверчков, задавали ту высокую интонацию в русском искусстве, которая подпитывала живительной влагой будущих знаменитых русских мастеров, помогала им осуществиться.

Как талантливый художник-самоучка, Н. Е. Сверчков работал сильно и составлял серьезную конкуренцию Соколову, Крендовскому, художникам академии. С 1839 года он посылает свои первые работы на академическую выставку. За них ему присуждается звание свободного художника портретной живописи. Ободренный успехом, он бросает канцелярию Министерства внутренних дел и занимается любимым творчеством.

В сороковые годы Николай Егорович работает на Хреновском и Чесменском государственных конных заводах, выполняя заказы известных коннозаводчиков П. Н. Зубова, А. Ф. Орлова, А. Г. Орлова-Чесменского, К. К. Толя. Художник побывал в захолустных уголках средней России. Сама жизнь подсказывала ему сюжеты для его полотен... «С тех пор я посвятил себя искусству, выбрав русский быт, наши охоты и путешествия по России»,— писал он.

Выставляясь только на академических выставках, он не был до конца привержен Академии художеств, но не стал и передвижником. В общественной жизни Сверчков занимал скорее либеральную, но демократическую позицию. Но его полотна говорят сами за себя. Нелегкая жизнь ямщиков, конюхов, захватывающие охотничьи погони, изображение лошадей — любимые темы художника. Среди классически прелестных лютнисток на выставках академии это были новые и смелые сюжеты.

Одно время Сверчков увлекался литографией. Для издательства Дациаро им была выполнена серия рисунков дорожных и городских уличных сцен «Эскизы русского». В 1852 году издатель Фельтен выпускает «Альбом коннозаводчиков с портретами заводских жеребцов и маток лучших заводов России, исполненных с натуры и литографированных художником Н. Сверчковым» (1846—1852). Этим



большим циклом в основном заканчиваются работы художника в литографии.

Во многих жанрах пробовал писать Николай Егорович. Не мог пройти и мимо своеобразного жанра конного портрета. «Скульптор И. И. Юшков в санях на набережной Невы» и «Портрет А. Я. Панаевой, жены поэта, на лошади»... В последнем художник достигает почти брюлловской торжественности и парадности. Этот портрет возник не случайно. В 50-е годы Сверчков испытывает сильное воздействие творчества Н. А. Некрасова, делает рисунки для поэмы «Мороз, Красный нос» и стихотворения «Крестьянские дети». Завязывается дружба. Много месяцев провел художник в усадьбе поэта в селе Карабиха Ярославской губернии. Их сближала любовь ко всему русскому: природе, народу, искусству. Вместе работали, ездили на крестьянские праздники. Поддержка Некрасова, особая атмосфера в его доме помогли расцвести таланту художника, он начал писать многофигурные композиции.

За «Помещичью тройку» Сверчков получает почетное звание академика «по живописи народных сцен», а в 1855 году Русский музей приобретает, уже у профессора живописи, картину «Дорожные». И снова «мужицкие» темы: «Тройка в степи», «Возвращение с крестьянской свадьбы», «Мужик, возвращающийся с ярмарки», эскизы охоты.

Была попытка создать образы героев Севастопольской обороны 54—55-го годов — огромная картина со сложной композицией. Над ней художник работал свыше двух лет и закончил в начале 1858 года. К сожалению, дальнейшая судьба картины осталась неизвестной...

Шестидесятые годы приносят Н. Е. Сверчкову европейскую известность. Длительная поездка за границу, демонстрация картин на международных выставках в Париже, Лондоне, Брюсселе приносят ему шумный успех и необычайную популярность. Жюри Всемирной выставки 1863 года за полотна «Возвращение с медвежьей охоты», «Почтовая станция», «Ярмарка в Воронеже» присуждает ему орден Почетного легиона. Казалось бы, вершина достигнута. Но в письме домой художник пишет: «В настоящее время хотя я и обласкан иностранцами, но тяжело русскому жить за границей, и я мечтаю только о том, когда мне придется снова увидеть мое отечество, но вместе с тем тяжелая мысль: что ожидает меня дома? буду ли иметь работу, как имею за границей? отравляет мою надежду...»

В ноябре 1864 года после возвращения в Россию он получает официальный заказ на серию исторических картин, который отнял двадцать лет творческой жизни художника. Сверчков не был историческим живописцем, но с Академией художеств его связывала материальная зависимость. Душа его жила в «Охотниках на скаку», «Охотниках с борзыми». Любимцами Николая Егоровича были и холеные кони, и неказистые деревенские лошадки. Сверчкова можно назвать еще и художником русской зимней дороги — с ее сугробами, одиночеством, метелями.

Известны две акварели 1887 года, сделанные на сюжет «Холстомера» Л. Н. Толстого. Сверчков писал ему: «Прочитав Ваш чудесный рассказ о грустной судьбе бедного Холстомера, я не мог отказать себе, чтобы не изобразить это бедное, достойное животное, с целью поднести Вам это мое произведение».

В восьмидесятые годы отношения с академией обострились. «Академия плюет на... славное прошлое, забыли, что я сделал для популяризации русского искусства за границей» — это строки из письма Сверчкова. Последние годы художник провел в безвестности и нужде. «Вся жизнь моя состоит из забот и труда. Поражен, сколько может выдержать человек!» — писал он. В июле 1898 года Н. Е. Сверчков был похоронен на Царскосельском кладбище.

Время отсекает от нас многих художников, но оно же и возвращает нам забытые имена, оставленные на прекрасных, нестареющих полотнах. Такие создавал и скромный, правдивый в своих лучших работах русский художник Сверчков.

Ирина ЧЕРКОВСКАЯ



Н. Е. СВЕРЧКОВ. 1817—1898. *КОНЮХ ВЫВОДИТ ЛОШАДЬ. 1864.*

ПОРТРЕТ
А. Я. ПАНАЕВОЙ,
ЖЕНЫ ПОЭТА,
НА ЛОШАДИ.



ОХОТА НА ВОЛКА.
1862.



В июньской книжке «Нового мира» за 1987 год я прочитал два рассказа Вячеслава Пьецуха. Я и до этого слышал, что у нас есть молодые писатели и что они будто бы хорошо пишут. Но сейчас этот слух для меня подтвердился. Вячеслав Пьецух — такой писатель. Что мне нравится в его прозе? Нравятся неожиданности. Неожиданный взгляд, неожиданный разворот фабулы, неожиданные слова, стоящие в неожиданном порядке друг возле друга. Человек отъезжает со станции, едет в поезде и приезжает на ту же станцию. Поезд подчиняется мысли человека. Сама станция и город при ней — сказочные, хотя вместе с тем и настоящие. Ирреальность так же реальна, как белый день, а реальность ирреальна, как это бывает не только в воображении и снах, но и наяву. Одним словом, Вячеслав Пьецух смотрит на мир через волшебное стекло, и это стекло — талант.

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ

ЦЕНТРАЛЬНО-ЕРМОЛАЕВСКАЯ ВОЙНА

Вячеслав ПЬЕЦУХ

РАССКАЗ



На самом деле загадочность русской души разгадывается очень просто: в русской душе есть все. Положим, в немецкой или какой-нибудь сербохорватской душе, при всем том, что эти души нисколько не мельче нашей, а, пожалуй, кое в чем основательнее, композиционней, как компот из фруктов композиционнее компота из фруктов, овощей, пряностей и минералов, так вот при всем том, что эти души нисколько не мельче нашей, в них обязательно чего-то недостает. Например, ими довлеет созидательное начало, но близко нет духа всеотрицания, или в них полным-полно экономического задора, но не прослеживается восьмая нота, которая называется «гори все синим огнем», или у них отлично обстоит дело с чувством национального достоинства, но совсем плохо с витанием в облаках. А в русской душе есть все: и созидательное начало, и дух всеотрицания, и экономический задор, и восьмая нота, и чувство национального достоинства, и витание в облаках. Особенно хорошо у нас сложилось с витанием в облаках. Скажем, человек только что от скуки разобрал очень нужный сарайчик, объяснил соседу, почему мы победили в Отечественной войне 1812 года, отходил жену кухонным полотенцем, но вот он уже сидит у себя на крылечке, тихо улыбается погожему дню и вдруг говорит:

— Религию нову придумать, что ли?..

Надо полагать, что эта особенность русской души, в свою очередь, объясняется множеством причин самого неожиданного характера, однако среди них есть совсем уж неожиданные и малоисследованные, которые при всей их мнимой наивности представляются такими же влиятельными, как, допустим, широкое распространение лебеды,— например, топонимика, климат и пейзаж.

Топонимика в русской жизни имеет темное, но какое-то электрическое значение. Как бы там ни было, но раз человек у нас родился в городке Золотой Плес, или в поселке Третьи Левые Бережки, или в селе Африканда, или на улице Робеспьера, то это не может пройти для него бесследно. Тем более если принять в расчет, что в Золотом Плесе, предположим, существует проволочная фабрика и он совершенно заплеван шелухой от подсолнухов, что в Третьи Левые Бережки катер ходит не каждый день, в Африканде только одна учительница английского языка знает, что такое «субъективный идеализм», а на улице Робеспьера отсутствуют фонари. Конечно, возможно, что значение топонимики отчасти преувеличено, но, с другой стороны, ни для кого не секрет, что москвичи так же отличаются от ленинградцев, как слова «губернатор» и «гувернер», которые имеют в своей основе единый корень.

Нужно признать, что в приложении к местности, где в июле 1981 года развернулась Центрально-Ермолаевская война, роль топонимики в человеческой жизни очень невелика. Правда, здесь есть городок Оргтруд, но собственно название Ермолаево пошло от Федора Ермолаева, который в двадцать втором году взорвал динамитом здешнюю церковь и, таким образом, неумышленно вписал в российскую географию свое имя; прежде деревня называлась Неурожайкой, и существует легенда, что это та самая «Неурожайка», которая помянута у Некрасова. Почему поселок Центральный называется Центральным, это неведомо никому.

Что касается климата, то в здешних местах он работает главным образом на разобщение. Например, если допустить, что в Центральном вдруг изобрели вечный двигатель, то в Ермолаеве об этом станет известно не раньше, чем минует одна из двух дорожно-транспортных эпопей. Эта климатическая особенность, как ни странно, имеет серьезный культурный смысл, прямо противоположный тому, который из нее логически вытекает, поскольку при богатстве характеров, поголовном среднем образовании и отсутствии под рукой то того, то другого тут постоянно что-то изобретают. Даже ермолаевский пастух Павел Егоров, в некотором роде реликтовый человек, и тот изобрел новый способ постреливания кнутом, дающий такую воинственную ноту, что ее побаивается даже финский бугай Фрегат. Прибавим сюда бесконечные зимние вечера, уныло озвученные бубнением телевизора или стуком швейной машинки, сиверко, который то и дело страшно заговаривает в дымоходе, авитаминоз по весне, а по осени взвесь ключевой воды, матово стоящую в воздухе,— и у нас получится, что климат по крайней мере значительно влияет на психику здешнего человека.

Наконец, пейзаж. Ермолаево стоит совершенно среди полей; по восточную околицу находится заброшенная конюшня, за нею поле, ограниченное речкой под уничижительным названием Рукомойник, далее черемуховые заросли, потом опять поле с неглубокими, но сырыми оврагами, где буйствуют болиголов, крапива и гигантские лопухи, потом поле плоское, как скамейка, потом несколько кособокое, как шляпка боровика, и только далеко-далеко, возле самого Центрального, начинаются перелески. По правую околицу тоже одни поля.



Собственно Ермолаево представляет собой обыкновенную деревню в полсотни дворов со всеми приметами обыкновенной деревни: с загадочным строением без окошек, возле которого, на старинной липе, висит обрезок рельса — здешний вечевой колокол, с бревенчатыми колодцами, пахнущими болотом, с тележным колесом, валяющимся возле бригадного клуба, может быть, еще со времен конфликта на КВЖД, с металлическими бочками из-под солярки, обросшими лебедой, одним словом, со всем тем, что роднит среднерусские деревушки между собой в гораздо большей степени, нежели единоутробие близнецов.

В свою очередь, Центральный — тоже обыкновенный поселок, даже, если можно так выразиться, минус обыкновенный, поскольку здесь нет своего клуба, но зато есть автобусная станция, столовая, ремонтные мастерские и большая клумба напротив поселкового Совета, в центре которой стоит гипсовый футболист, выкрашенный серебрянкой, а какие-то мелкие розовые цветочки, расположенные вокруг него, искусно выстраиваются в надпись «Кто не работает, тот не ест».

Спору нет, пейзажи в этой местности так себе, кроткой живописности пейзажи, однако они настойчиво наводят на одну серьезную мысль, на мысль прямо-таки гоголевского полета: эти пейзажи к чему-то обязывают; к чему именно, не поймешь, но к чему-то обязывают — это точно. Говорят, Женевское озеро ни к чему не обязывает, и апеннинские «дерзкие дива природы, увенчанные дерзкими дивами искусства», тоже ни к чему не обязывают, а эта околопустыня обязывает, вот только никак не поймешь, к чему. Во всяком случае, она определенно обязывает призадуматься над тем, к чему она обязывает, а это уже немало.

Кроме того, российская околопустыня периодически вгоняет человека в то бесовское состояние духа, когда одновременно хочется и заплакать, и засмеяться, и выкинуть что-либо необыкновенное, огневое. Короче говоря, нет ничего неожиданного в том, что в июле 1981 года молодежь деревни Ермолаево и поселка Центральный ни с того ни с сего затеяла между собой форменную войну.

Непосредственные причины ее темны; пожалуй, помимо обстоятельств, основательно влияющих на формирование национального образа мышления, вроде топонимики, климата и пейзажа, причин у Центрально-Ермолаевской войны не было никаких, и посему этот традиционный пункт можно безболезненно опустить. Касательно же сил, вовлеченных в междоусобицу, следует оговориться, что они были вовсе даже не многочисленны: с обеих сторон в ней приняли участие практически все тамошние юнцы, в общей сложности человек сорок, а также участковый инспектор Свистунов, зоотехник Семен Аблязов, тракторист Александр Самсонов и один работник районной конторы «Заготзерно». Силы Центрального возглавлял восемнадцатилетний слесарь-ремонтник по прозвищу Папа Карло, а ермолаевскими верховодил двадцатидвухлетний шофер Петр Ермолаев, внук того самого Ермолаева, который взорвал динамитом церковь.

Как это и случается чаще всего, поводом к началу Центрально-Ермолаевской войны послужил пустяк. 17 июля 1981 года Петр Ермолаев приехал на своем мотоцикле в Центральный, чтобы по поручению дяди выкупить шестой том медицинской энциклопедии. Когда он выходил из книжного магазина, засовывая за борт синей нейлоновой куртки том, возле его мотоцикла стоял Папа Карло и задумчиво глядел на заднее колесо.

— Але!— сказал Папа Карло.— Сколько стоит этот велосипед?

— Я его в лотерею выиграл,— ответил Петр Ермолаев,— но вообще-то он стоит пятьсот рублей.

— Вот что, Петро: я тебе за него предлагаю пятьсот пятьдесят, и знай мою широкую душу.

— Нет, Папа Карло, машина не продается. В лотерею выиграть, это, считай, подарок.

Петр Ермолаев отказал так непоколебимо, что Папа Карло понял: ермолаевский мотоцикл ему не удастся заполучить — и с досады решил над Петром немного поиздеваться.

— Слыхал,— сказал он,— в двадцати километрах от твоего Ермолаева егерь набрел на стадо диких коров. Коровы самые обыкновенные, сентиментальской породы [1], но только дикие.

— Это нереально,— возразил Петр Ермолаев.

— Коровы-то, между прочим, ваши, колхозные,— не обращая внимания на это возражение, продолжал Папа Карло.— Егерь говорит, что это они по лесам от бескормицы разбрелись. Сами, небось, колбасу лопаете, а скотина у вас на хвое. До чего же вы все-таки, ермолаевские,— лоботрясы и куркули!

Петр Ермолаев от этих слов даже оцепенел. Во-первых, несмотря на то, что Центральный был обозначен на географических картах как поселок городского типа, его обитатели вовсе не считали себя городскими, а во-вторых, ермолаевские отродясь не отличались ничем, кроме необузданности и нахальства.

— Ты думай, что говоришь!— сказал Петр Ермолаев и постучал себе по лбу костяшками пальцев.— Тоже городской выискался!.. Лапоть ты, Папа Карло, и более ничего!

Теперь уже Папа Карло оцепенел, так как по дикости нрава он давненько-таки не слышал в свой адрес не только что бранного слова, но и подозрительного междометия.

— А если я тебе сейчас в рог дам?!— с ужасной вкрадчивостью спросил он.— Тогда как?!

Папа Карло, несмотря на юношеский возраст, был малый крупный, мощный, снабженный от природы грозно-огромными кулаками, и Петру Ермолаеву было ясно, что в одиночку с ним, конечно, не совладать. Он посмотрел на обидчика вдумчиво, проникновенно, как смотрят, решая про себя навеки запомнить то или иное мгновение жизни, потом завел мотоцикл, сел в седло, дал газ и немедленно окутался тучами желтой пыли.

— Таким лоботрясам,— крикнул ему вслед Папа Карло,— только на лотерею надеяться и остается!..

Этого напутствия тем более невозможно было спустить, и Петр Ермолаев взял с себя слово при первом же удобном случае поквитаться.

Такой случай выдался два дня спустя после того, как он сцепился с Папой Карло возле книжного магазина,— это было 19 июля, День Полевода. На праздник в Ермолаево понаехали гости со всей округи, включая весьма отдаленный городок Оргтруд и несколько деревень, названий которых ермолаевские даже и не слыхали. Поселок Центральный был представлен на Дне Полевода вечерней сменой слесарей-ремонтников во главе с Папой Карло и букетом девиц самого бойкого поведения.

Около трех часов пополудни правый берег Рукомойника стал заполнять народ. Мужчины явились в темных костюмах, с непременной расческой, засунутой в нагрудный карман, в белых рубашках, преимущественно застегнутых на все пуговицы, и в сандалиях; на женщинах были бедно-пестрые платья и газовые косынки, повязанные, если так можно выразиться, отрешенно, как будто ими хотели сказать, что надеяться больше не на что, ну разве на чудеса; молодежь была одета демократично.

Вскоре на грузовике приехал буфет, потом наладили громкоговоритель, и начались танцы. В первом перерыве между танцами сельсовет сказал речь о значении хлеба, во втором вручил почетные грамоты, а в третьем одна из приезжих девиц залезла в кузов грузовика и спела заразительную частушку:

Вологодские ребята
Жулики, грабители,
Мужичок г... возил,
И того обидели.

Затем гости пошли по дворам угощаться, затем ермолаевский драмкружок дал небольшой концерт, затем опять начались танцы, словом, праздник в высшей степени удался. Правда, тракторист Александр Самсонов выехал было на бульдозере разгонять народ, но его слегка поучили и отправили отсыпаться. Однако ближе к вечеру, когда ввиду надвигающихся сумерек танцы перенесли в клуб, а если точнее, то вскоре после того, как зоотехник Аблязов в четвертый раз завел «Танец на барабане», позади клуба разразилась крупная потасовка. Увертюрой к ней послужила следующая сцена: Петр Ермолаев подошел к Папе Карло, отвел его в сторону и сказал:

— Ну что, Папа Карло, весело тебе у нас?

— А то нет,— ответил Папа Карло и плюнул на пол.

— Сейчас будет скучно.

С этими словами Петр Ермолаев широко размахнулся и смазал своего обидчика по лицу. Тот только крякнул и пошел на выход, набычившись, как финский бугай Фрегат.

За клубом человек пять ермолаевских немедленно приняли Папу Карло в дреколье и кулаки, однако на выручку к нему подоспела вечерняя смена слесарей-ремонтников и по-настоящему поквитаться не удалось. Впрочем, можно было с чистой совестью утверждать, что Папа Карло свое получил, и парни из Центрального первое сражение проиграли. Побили слесарей, правда, не очень крепко, но в сопровождении тех унизительных выходок и словечек, которые хуже любых побоев.

Именно поэтому парни из Центрального сочли себя оскорбленными не на жизнь, а на смерть и договорились нанести немедленный контрудар. Добравшись до родного поселка на попутном грузовике, они подняли на ноги утреннюю смену слесарей-ремонтников, трех шоферов, кое-кого из учащихся средней школы и на грузовике же, но только не на давешнем, а на другом, обслуживающем ремонтные мастерские, вернулись в деревню мстить.

Было еще не так чтобы очень поздно, часов одиннадцать или начало двенадцатого, однако на дверях клуба уже висел большой амбарный замок. Деревенская улица тоже была пуста и не подавала никаких признаков жизни, если только не брать в расчет, что по дворам томно побрехивали собаки, но вдалеке, у заброшенной конюшни, теплился загадочный костерок. Ребята из Центрального были так огорчены, как если бы их обманули в чем-то большом и важном, и только предположение, что это не кто иной, как противник полуночничает у дальнего костерка, вселяло в них бодрость духа.

Возле полупотухшего костерка сидела компания ермолаевских мальчишек, которые пекли в золе картошку и вели свои обычные разговоры. Как ни сердиты были парни из Центрального, они не могли себе позволить отыграться на мелюзге. В результате с мальчишек всего-навсего поснимали штаны и бросили их в костер, да напоследок, чтобы как-то избыть досаду, помочились в кружок на угли, картошку и тлеющие штаны.

Поутру ермолаевские мальчишки рассказали старшим братьям о вылазке слесарей, и единодушно было решено провести ответную операцию. В ночь на 22 июля ермолаевские явились в Центральный и нанесли поселку заметный ущерб: они побили фонари вокруг автобусной станции, разорили клумбу напротив поселкового Совета, при этом обезглавив гипсового футболиста, отлупили одного подгулявшего слесаря, поломали ворота у Папы Карло и сняли карбюраторы с двух тракторов «Беларусь».

На обратном пути ермолаевские пели песни, а их вождь время от времени выкрикивал навстречу ветру следующие слова:

— Вот это жизнь, а рребята?! Вот это, я понимаю, жизнь!

В дальнейшем Центрально-Ермолаевская война приняла затяжной характер, деятельно-затяжной, но все-таки затяжной. Произошло это вот по какой причине: в Ермолаеве временно поселился участковый инспектор Свистунов. Под вечер 24 июля парни из Центрального погрузились в автобус и поехали в Ермолаево, имея в виду дать деревенским решающее сражение, но на мосту через Рукомойник они неожиданно повстречали Свистунова и сочли за благо ретироваться. Правда, Свистунов был не в полной форме, а, просто сказать, в фуражке, майке, галифе и домашних тапочках, и тем не менее Папа Карло заподозрил подвох; больше всего было похоже на то, что ермолаевские смалодушничали и придали конфликту официальное направление. Итак, вечером 24 июля Папа Карло уговорил свою компанию отступить.

По возвращении восвояси много шумели: нарочно ермолаевские заманили к себе участкового инспектора или он оказался у них случайно? К единому мнению, разумеется, не пришли, но в результате настолько ожесточились, что если бы не зоотехник Семен Аблязов, подгулявший в Центральном на свадьбе своей сестры, война наверняка приняла бы не позиционное, а более жестокое направление.

Зоотехник Аблязов был неожиданно обнаружен на автобусной станции, возле кассы, у которой он подремывал стоя, по-лошадиному, и, будто нарочно, для вящего сходства, время от времени всхрапывал и вздыхал. Слесари подхватили его под руки и отволокли на двор к Папе Карло, положив наутро во что бы то ни стало выудить у него сведения, однозначно отвечающие на вопрос: нарочно ермолаевские зама-

---

[1] То есть симментальской (прим. автора).

нили к себе участкового инспектора Свистунова или он оказался у них случайно.

Заперли Семена Аблязова в баньке, стоявшей позади дома. Утром он проснулся чуть свет и долго не мог понять, где он находится и зачем. То, что он сидел в баньке, было ясно как божий день, но вот у кого в баньке, почему в баньке — это была загадка. Аблязов покричал-покричал и смолк.

В восьмом часу его посетил Папа Карло; он вошел в предбанник, сел на скамейку, закурил и сказал:

— Зачем у вас в Ермолаеве околачивается Свистунов?

— Это допрос? — поинтересовался Аблязов.

— Допрос,— сказал Папа Карло.

— В таком случае я отказываюсь отвечать.

Папа Карло с досадой понял, что он дал маху, что, верно, к Аблязову следовало подъехать не с силовой, а с какой-нибудь располагающей стороны, но было уже поздно, пленный, как выражались в Центральном, уперся рогом.

— Ну, а если мы тебя пытать будем, тогда как? — сказал Папа Карло, хищно прищуривая глаза.

Аблязов оживился, кажется, он был этим предположением сильно заинтригован.

— Интересно,— спросил он,— как же вы меня рассчитываете пытать?

— А вот посадим тебя на одну воду, небось сразу заговоришь! Или можем предложить раскаленные пассатижи.

В пассатижи Аблязов не поверил, а пить ему хотелось до такой степени, что перед глазами ходили огненные круги.

— Ладно, пытайте,— согласился он.— Только давайте начнем с воды.

Папа Карло плюнул и вышел вон. Некоторое время он бродил вокруг баньки, а потом присел на охапку дров и начал смекать, как бы ему вывести зоотехника на чистую воду. Из-за стен баньки послышалось невнятное бормотание.

— Але! — громко сказал Папа Карло.— Ты чего там, Семен, бубнишь?

— Ась? — донеслось из баньки.

— Я говорю, ты чего там бубнишь? Помираешь, что ли?

— Нет, это я стихотворение сочиняю. У меня такая повадка, пока я не отремонтируюсь, стихотворения сочинять.

— Ну, и чего ты там сочинил?

— А вот послушай:

Чем веселее на улице пение,
Тем второстепенней зарплаты значение.

— А что?! — сказал Папа Карло.— Законный стих!.. Жизненный, складный, политически грамотный. Тебе бы, Семен, в газетах печататься, а не телок осеменять. Ты в газеты-то посылал?

— Посылал! — донеслось из баньки вместе с протяжным вздохом.— Не печатают они, сукины дети, моих стихов. Говорят, с запятыми у меня получается ерунда.

— Дурят они тебя. На самом деле твои стихи не печатают потому, что характер у тебя пакостный, потому что их только напечатай, как ты сразу потребуешь персональную пенсию. И во всем ты такой! Например, тебя по-человечески просят рассказать, зачем у вас в Ермолаеве околачивается Свистунов, а ты из себя строишь незнамо что!

Банька ответила тишиной.

Вскоре на двор к Папе Карло явилось за новостями несколько слесарей. Поскольку желанных гостей не имелось, команда посовещалась и решила-таки прибегнуть к помощи пассатижей. Папа Карло сбегал за ними в сарай, слесари тем временем затопили печь в летней кухне и после того, как пассатижи раскалили до малинового сияния, так что от промасленных концов, которыми обернули ручки, пошел вонючий дымок, всей командой ввалились в баньку.

Увидев раскаленные пассатижи, решительные физиономии слесарей и сообразив, что дело принимает нешуточный оборот, Аблязов сразу поник лицом. Он уже рад был бы ответить на любые, самые каверзные вопросы, однако он не только не знал того, зачем Свистунов «околачивается» в Ермолаеве, но и того, что в Ермолаеве «околачивается» Свистунов. Впрочем, неведение в некотором роде облегчало аблязовское положение, ибо у него не было искуса понести себя малодушно! С отчаяния он играл желваками и даже улыбался, но все-таки руку его попортили в двух местах.

Так как толку от Аблязова парни из Центрального не добились, около обеденного времени они отпустили его пить пиво и стали советоваться, как быть дальше. В конце концов Папе Карло пришло на мысль заслать в Ермолаево своего человека; человек этот, именно один работник районной конторы «Заготзерно», приходился шурином Папе Карло. Он как раз собирался в Ермолаево по делам, и его обязали навести справку относительно инспектора Свистунова, каковую он впоследствии и навел.

В свою очередь, ермолаевские были до такой степени обеспокоены пассивностью неприятеля, что попросили тракториста Самсонова, который направлялся в Центральный менять поршневые кольца, разнюхать, не готовятся ли тамошние как-либо диковинно отомстить. Однако Самсонов никаких сведений не представил, ибо ему принципиально всучили такие поршневые кольца, что он намертво встал в двух километрах по выезде из Центрального и с горя заявился домой в невменяемом состоянии.

Между тем работник «Заготзерна» исправно донес о том, что участковый уполномоченный Свистунов просто-напросто гостил в Ермолаеве у своего двоюродного брата, что утром двадцать четвертого числа он надолго отбывает в Оргтруд и что в тот же день вечером вся ермолаевская молодежь соберется в клубе на репетицию пьесы «Самолечение приводит к беде», которую сочинил тамошний фельдшер Серебряков.

Таким образом, на 29 июля наметился переход от позиционного периода к боевому. Как оно намечалось, так и вышло: утром того памятного дня ермолаевские избили водителя поселкового грузовика, который вез продукты из Оргтруда и неосмотрительно остановился у Рукомойника освежиться, а вечером произошло, так сказать, Ермолаевское сражение.



Рисунки Петра ПИНКИСЕВИЧА

Около пяти часов вечера парни из Центрального погрузились в автобус, прихватив с собой велосипедные цепи, обрезки шлангов и картонный ящик, обернутый мешковиной. В седьмом часу автобус остановился возле моста через Рукомойник, команда спешилась и стала дожидаться сумерек, так как ударить было решено под покровом ночи. Чтобы скоротать время, сначала выкупались в реке, а потом развели костер, уселись и принялись за скабрезные анекдоты. Наконец на синюшном небе проступила первая, сумеречная звезда, парни из Центрального затушили костер и цепью тронулись на деревню.

В это время ермолаевская молодежь, как и было обещано, репетировала пьесу «Самолечение приводит к беде». Режиссировал фельдшер Серебряков; он сидел на бильярдном столе, держа между пальцами самокрутку, и говорил:

— Вы поймите, товарищи, что тут у нас драма, почти трагедия. Потому что человек из-за этого... из-за вольнодумства, вместо того, чтобы вылечиться, еще хуже заболевает. Тут, товарищи, плакать хочется, а вы разводите балаган! Давайте эту сцену сначала! Давай, Ветрогонов...

Щуплый, не по-деревенски бледный паренек,

представлявший Ветрогонова, шмыгнул носом и произнес свою реплику:

— Я признаю исключительно народные средства. Например: сто граммов перца на стакан водки.

— Вступает Правдин,— распорядился Серебряков.

— На такое лечение денег не напасешься,— вступил Правдин, которого изображал Петр Ермолаев.— Если, конечно, их не печатать.

— Отлично, Правдин,— похвалил его Сергей Петрович и показал большим пальцем вверх.— Теперь опять Ветрогонов.

— Мне печатать деньги ни к чему, я всегда от жены заначку имею...

— Нет,— оборвал парнишку Серебряков,— так не пойдет! Ты давай говори эти слова, как сказать... развратно, что ли, потому что в разделе «Действующие лица» у нас имеется примечание: «Роман Ветрогонов, молодой механизатор, любитель семейной свободы». А ты эти слова так говоришь, как будто прощенья просишь. Повтори еще раз!

— Мне печатать деньги ни к чему, я всегда от жены заначку имею,— повторил Ветрогонов, состроив такую дурацкую мину, что прочие действующие лица прыснули в кулаки.

— Это абсурдные слова,— сказал Правдин.— В семье все должно быть обоюдно, при полном согласии сторон. Потому что семейное счастье — явление хрупкое. Оно складывается из трех категорий: духовной, физической, материальной. И материальная база в семейном счастье занимает не последнее место, поэтому получку ложи в одно место с женой. Чем крепче семья, тем крепче отечество!..

— Так! — сказал Серебряков.— Теперь у нас идут звуки из-за кулис: «мычание коров, блеяние овец, рев быка». Пашка?! Куда подевался Пашка?

— Я тут,— отозвался пастух Павел Егоров, которому из-за придурковатости смогли доверить только «звуки из-за кулис».

— Давай, Емеля, твоя неделя,— язвительно приказал кто-то из ермолаевских.

Павел добросовестно изобразил то, что от него требовалось.

— Так! — сказал Серебряков.— Правдин уходит, остается один Ветрогонов. Эх, полечиться, что ли...

— «Берет стакан,— начал читать ремарку Серебрякова,— сыплет в него перец, ромашку, ревень, ваниль, заливает водкой, размешивает, подносит ко рту». Тут у нас снова голос из-за кулис...

— Самолечение приводит к беде! — произнес Павел Егоров гробовым голосом, выглянув из-за трибуны, выкрашенной под орех, и деланно рассмеялся.

— Это ктой-то говорит?! — довольно натурально произнес Ветрогонов.— Привидение, что ли?

— В привидения верят только старые бабки и дураки,— ответил ему Правдин, выйдя из-за кулис.— Это говорит голос разума...

Как раз на словах «это говорит голос разума» противник из Центрального, скрытно вторгнувшийся в Ермолаево, завершил окружение клуба широким полукольцом, и Папа Карло начал распаковывать ящик, в котором оказались бутылки с зажигательной смесью, приготовленные поселковым умельцем по прозвищу Менделеев. Разобрав бутылки, ребята из Центрального изготовились и застыли.

В клубе тем временем зажгли свет, и ярко вспыхнувшие окошки отбросили на мураву огромные бледные прямоугольники. Где-то вдалеке промычал теленок, промычал жалобно, призывно, точно пожаловался на что-то. Явственно слышался голос Петра Ермолаева, разоблачавшего народную медицину. На крыльцо вышел какой-то парень с крошечной звездочкой сигареты, несколько раз затянулся и через минуту исчез за дверью.

— Пора! — сказал Папа Карло, и в окна клуба полетели бутылки с зажигательной смесью: зазвенело стекло, раздался надрывный визг, дробно, панически застучали по полу ноги; потом из окон повалил масляно-черный дым, погас свет, и внутренность клуба зловеще озарилась занимающимся огнем.

Расчетам вопреки, ермолаевских не сломили внезапность и причудливость нападения. Повыскакивав из клуба и напоровшись на парней из Центрального, они почти сразу опомнились и оказали неприятелю жестокий отпор. С четверть часа ситуация оставалась невнятной: кто сдает, кто берет верх — этого было не разобрать. Только жутко свистели в воздухе велосипедные цепи, со всех сторон слышалось горячее дыхание, дикие возгласы, матерщина. Петр Ермолаев свирепо раскидывал слесарей, приговаривая:

— Эх, кто с мечом к нам придет!..— Дальше он почему-то не продолжал.

Папа Карло воевал молча.

Однако, когда уже сделалось так темно, что своих от чужих отличить было практически невозможно, ребята из Центрального вынуждены были отойти сначала к заброшенной конюшне, а там и к Рукомойнику, где их поджидал автобус.

Очистив деревню от неприятеля, ермолаевские вернулись в клуб подсчитать потери. Собственно, потери были исключительно материальные, если не принимать во внимание ссадины, шишки и синяки: в клубе были побиты стекла да сгорел бильярдный стол, сундук, в котором хранили елочные украшения, и два никудышных стула. Тем не менее эти мизерные потери были приняты близко к сердцу, и ермолаевские, морщась от запаха гари, стали прикидывать, как бы опять же Центральному отомстить. Предложения были следующие: потравить дустом поселковую пасеку, которую постоянно вывозили на ермолаевскую гречиху, разобрать избу Папы Карло, взорвать ремонтные мастерские. Но ни одному из этих предложений не суждено было осуществиться, так как в силу некоего космического происшествия Центрально-Ермолаевская междоусобица неожиданно пресеклась.

На другой день рано утром, едва отзвонил обрезок рельса и путем не проспавшийся народ направился на работу, тракторист Александр Самсонов начал распространять беспокойно-любопытную весть: будто бы 31 июля ожидается последнее в двадцатом столетии полное солнечное затмение.

Эта весть почему-то произвела на деревне смуту: старики злобно взбодрились, видимо, предвкушая исполнение библейского обещания, ермолаевские среднего возраста немного занервничали, глядя на стариков, молодежь же принялась коптить стекла. Стекла коптили буквально с утра до вечера, используя на это дело каждый досужий час. Петр Ермолаев пошел еще дальше: он взял отгул и сел сооружать маленький телескоп, на который пошла «волшебная трубка», то есть калейдоскоп, два увеличительных стекла, два дамских зеркальца и старинный светец, обнаруженный за рулоном толя на чердаке.

В пятницу 31 июля все ермолаевское население с раннего утра высыпало на улицу, и как ни бесновался бригадир, гнавший колхозников на работу, молча простояло возле своих дворов до тех пор, пока не увидело обещанного затмения. Это была посвоему пленительная картина: раннее утро, еще свежо, улица, сотни полторы ермолаевских, которые задрали головы и с самыми трогательными выражениями смотрят в небо, полная тишина; впечатление такое, что грядет какая-то небывалая общечеловеческая беда или, напротив, обязательное и полное счастье; чувство такое, что если сверху ничего таки и не упадет, то это будет ужасно странно; а тут еще Петр Ермолаев забрался с телескопом на крышу своей избы и до страшного похож на жреца, который готовится к общению с небесами.

Солнце довольно долго не подавало признаков ожидаемого затмения, и вскоре среди ермолаевских пошел ропот. Но вдруг правый краешек огненного диска тронула легкая пелена, как если бы это место несколько притушили,— толпа вздохнула и обмерла. Затем началось нечто апокалипсическое, похожее на гриппозное сновидение: постепенно стало темнеть, темнеть, внезапно смолкли все звуки, кузнечики в поле и те притихли, и только на ферме дико заревел финский бугай Фрегат; через некоторое время блеснули звезды, и даже не блеснули, а навернулись, что ли, как наворачивается слеза, и немедленно пала ночь; по земле побежал ветерок, пугающий на манер неожиданного прикосновения, затхло-холодный, как дыхание подземелья. Черное солнце смотрело сверху пустой глазницей, оправленной в золотое очко, потусторонним светом горела линия горизонта, и было несносно тихо, по-космическому тихо, не по-земному.

В общем, затмение ошарашило ермолаевских, особенно молодежь. Впечатление от него оказалось настолько значительным, что не обошлось без коекаких капризных последствий, например, тракторист Александр Самсонов зарекся пить. Что ж касается молодежи, то она на какое-то время притихла, смирилась, как это бывает, когда дети получат заслуженный нагоняй. Собственно, никто не понял, что такое произошло, но все поняли: что-то произошло. Впрочем, во влиятельности на него топонимики, климата, пейзажа нет ничего особенно удивительного, ибо у нас почему-то ничто так не перелопачивает человека и его даже жизнь, как наиболее внешние, казалось бы, посторонние обстоятельства. Суховеи у нас подчас ставят на край могилы самою российскую государственность, как это было в начале семнадцатого столетия, необузданные пространства и эпидемии определяют направление литературы, хвостатые кометы до такой степени сбивают с толку власти предержащие, что они провоцируют соседей на интервенции; а разливы рек, уносящие целые погосты? а благословенные русские дороги, имеющие великое историческое значение, так как они испокон веков обороняют нас от врагов? а грамматика нашего языка, которая обусловливает огромную внутреннюю работу? а, наконец, широкое распространение лебеды? Одним словом, не так глупо будет предположить, что солнечное затмение вогнало в меланхолию ермолаевскую молодежь по той самой логике, по какой даже отъявленный негодяй, встретивший похороны, на какое-то время становится человеком.

Логично также будет предположить, что дело тут отнюдь не в небесной механике, суховеях и грамматике русского языка, что просто какой-то основной закон нашей жизни строит универсальные характеры, чрезмерно богатые судьбы и разные причудливые происшествия, от которых так и тянет ордынским духом. Но это все-таки сомнительная идея, потому что сомнительно, чтобы фермер из какой-нибудь Оклахомы был нравственно организованнее механизатора из-под Тамбова, чтобы жизнь в Оставковском районе была менее содержательной, нежели жизнь в округе Мэриленд, а там деревенская молодежь все же не так изголяется, как у нас. Следовательно, разгадка все-таки в том, что в русской душе есть все, а все в ней есть потому, что она отчего-то совершенно открыта перед природой, в которой есть все, и, следовательно, дело именно в небесной механике, суховеях и грамматике русского языка.

Итак, сразу после солнечного затмения 31 июля 1981 года Центрально-Ермолаевская междоусобица нежданно-негаданно пресеклась. Формальный мир был заключен 4 августа, в деревне Пантелеевка, стоявшей на пути в городок Оргтруд, во время тамошнего престольного праздника, на который съехалась вся округа. Петр Ермолаев и Папа Карло столкнулись в самом начале танцев. Папа Карло уже было полез в задний карман за разводным ключом, припасенным на всякий случай, однако вид у врага был до того добродушный, миролюбивый, что на первых порах он решил ограничиться свирепым взглядом из-под бровей. Петр Ермолаев подошел к нему твердым шагом, протянул сигарету, зажженную спичку, потом спросил:

— Затмение видел?

— Ну, видел...— сказал Папа Карло.

— Правда, впечатляет?!

— Ну, впечатляет...

— Слушай, Папа Карло, давай мириться?

Папа Карло оглянулся на своих слесарей, стоявших поблизости наготове, и произнес:

— Мириться мы никогда не против.

— Чтобы не быть голословным,— продолжал Петр Ермолаев,— дарю тебе мотоцикл, тем более что я его все равно выиграл в лотерею.

Папа Карло порозовел и сначала наотрез отказался от мотоцикла, потом из принципа предложил за него полторы цены, но в конце концов был вынужден уступить.

— Если что, ты прости,— в заключение сказал он.

— И ты прости, если что,— сказал Петр Ермолаев.

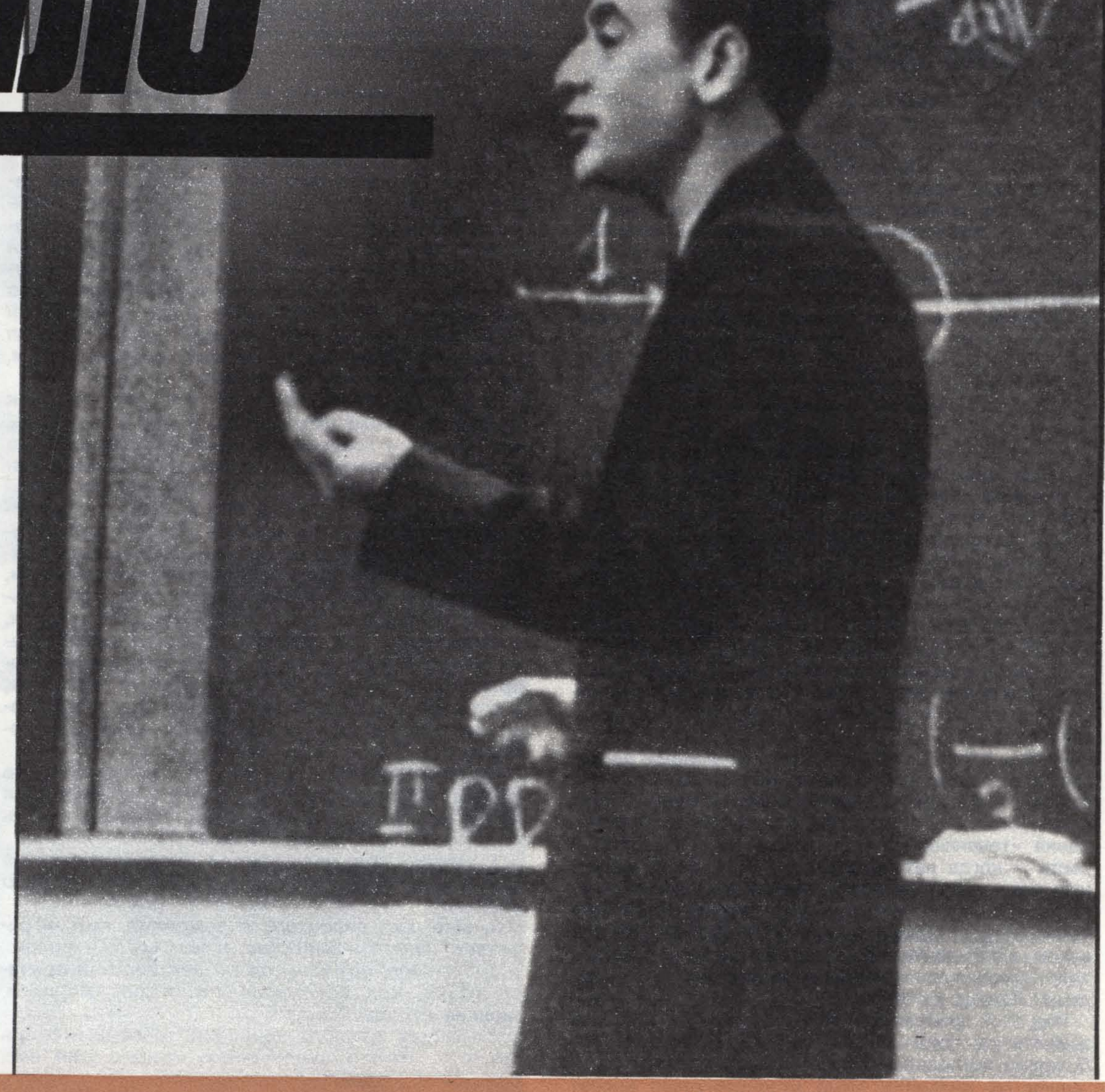
Поскольку от «прости», вообще отечественное «прости» отличается тем, что имеет самостоятельное значение, как правило, избыточное, даже чрезмерное относительно его возбудителя, наступивший мир оказался таким же отчаянным, как и давешняя война. Бывшие неприятели не на шутку сдружились, и впоследствии дело зашло так далеко, что было решено осуществить совместную постановку нового опуса фельдшера Серебрякова под названием «Внимание — бутулизм!». Тракторист Александр Самсонов, правда, предупреждал юных односельчан, что их благодушие преждевременно, так как в январе ожидается еще полное лунное затмение, и, невозможно предсказать, чем оно обернется.



ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛО

ИЗ ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОСТИ

22 января исполнилось бы 80 лет академику Льву Давидовичу Ландау. Крупнейший физик современности, он мог бы еще жить, активно работать. Но его нет уже двадцать лет. Еще раньше его потеряла мировая физика. Наше время привержено документальным свидетельствам, они точно и беспристрастно рисуют людей, эпоху. О лауреате Ленинской и Нобелевской премий академике Ландау мы решили рассказать именно при помощи документов. Они публикуются впервые и относятся к трудным дням жизни ученого.



На теоретическом семинаре. 1955 год.



«На его долю выпала трагическая судьба — умереть дважды». Так сказал известный физик академик Евгений Лифшиц, близкий друг Ландау, его ученик.

Автокатастрофа. Состояние полной безнадежности. И мгновенная реакция почти всех, кто знал и не знал Ландау,— сделать все возможное и невозможное для его спасения. Самые именитые физики превратились в курьеров, шоферов, секретарей, носильщиков. Они доставали все, что требовала медицина. В спасении советского ученого принимали участие физики и медики Европы и Америки.

Ландау остался жив. Но... его уникальный мозг полностью спасти не удалось. Наукой заниматься он больше не мог. Никогда. Однажды на вопрос, читал ли он недавно вышедший роман, Ландау ответил:

— Нет... Это было уже не при мне.— В словах Льва Давидовича прозвучало все — и горечь, и признание своей беды, своей несостоятельности, и еще можно было услышать отголосок прежнего его юмора, теперь такого страшного...

Родился он в Баку в семье главного инженера одного из бакинских нефтепромыслов. Мать была медиком. В Бакинский университет поступил в четырнадцать лет, мог бы и раньше, но воспротивились родители, считали, что слишком мал. Глядя на фотографию того времени, можно, пожалуй, с ними согласиться, но родители не знали, какие удивительные возможности заложены в их сыне, кем ему предстоит стать. Однако встретился в ту пору человек с зоркими глазами — декан физико-математического факультета.

Вот что написал он летом 1924 года о своем студенте:

«Считаю своим долгом отметить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДАРОВАНИЯ этого юного талантливого студента, проходящего с поражающей легкостью и вместе с тем с большой глубиной дисциплины двух отделений (по современной терминологии — двух факультетов) одновременно. Если физико-математический факультет Ленинградского университета даст ему возможность завершить свое образование, я выражаю твердую уверенность, что университет впоследствии будет вправе гордиться тем, что подготовил для России выдающегося научного деятеля».

По русской пословице: как в воду глядел. Имел не только зоркие глаза, но и великодушное сердце — отдал другим свою будущую славу. И шестнадцатилетний Лев Ландау переезжает в Ленинград, поступает на физическое отделение университета.

В 1929 году его, еще юношу, посылают на полтора года за границу для работы в крупнейших научных центрах Европы. Ему лишь двадцать один, но позади университет и защита диссертации.

— Я был в Швейцарии, Германии, Дании, Англии, смотрел Бельгию и Голландию,— вспоминал Лев Давидович.— Это путешествие имело громадное значение для меня. Я перевидел всех великих физиков. Ни в ком из них не было и намека на кичливость, важность и зазнайство... Своим учителем считаю Нильса Бора.

Л. Д. ЛАНДАУ — Н. БОРУ

10 ноября 1936, Харьков

Дорогой господин Бор!

Поскольку прилагаемая работа представляет собой, по-видимому, развитие Ваших представлений о ядрах, может быть, она Вас заинтересует. Если же работа покажется Вам скучной, то Вам, конечно, нет необходимости ее читать.

С сердечным приветом

Ваш
Л. Ландау



Четырнадцатилетний Лев Ландау — студент Бакинского университета. 1922 год.

Н. БОР — Л. Д. ЛАНДАУ

6 декабря 1937, Копенгаген
Дорогой Ландау!

Прилагаю гранки Вашего письма в «Nature», которые я только что получил. Вы, наверное, знаете из моего письма Капице, что мы все в Институте находимся под большим впечатлением от красоты Вашей идеи, которая нам кажется очень плодотворной...

Сердечные приветы от моей жены, меня и всего института!

Ваш
(Н. Бор)

Лев Давидович Ландау работал до марта 1937 года в Украинском физико-техническом институте и одновременно заведовал кафедрой общей физики в Харьковском университете. Обстановка там в это время была тревожной, начались аресты ученых. И Петр Леонидович Капица, опасаясь за судьбу Ландау, приглашает его в Москву, в руководимый им институт.

16 марта 1937 года Л. Д. Ландау зачислен на работу в Институт физических проблем.

Сейчас в мире физики чрезвычайно модно слово «сверхпроводимость». Открытие это сулит переворот и в науке, и в технике, в том числе и в энергетике.

В свое время Ландау внес большой вклад в развитие теории сверхпроводимости. Но куда большая его заслуга — в создании теории сверхтекучести. Сверхпроводимость — это когда нет никакого сопротивления «течению» электрического тока. Сверхтекучесть — когда нет никакого сопротивления движению, «течению» жидкости, совсем отсутствует вязкость. Сверхтекучим оказался жидкий гелий при температурах, близких к абсолютному нулю. Ни при каком охлаждении он не превращался в твердое тело. Открыл явление сверхтекучести Петр Леонидович Капица в 1937 году.

Над этой проблемой в основном и работали тогда в Институте физических проблем Капица и Ландау. В разгар исследований Ландау арестовывают...

П. Л. КАПИЦА — И. В. СТАЛИНУ

28 апреля 1938, Москва
Товарищ Сталин!

Сегодня утром арестовали научного сотрудника института Л. Д. Ландау. Несмотря на свои 29 лет, он вместе с Фоком — самые крупные физики-теоретики у нас в Союзе. Его работы по магнетизму и по квантовой теории часто цитируются как в нашей, так и в заграничной научной литературе. Только в прошлом году он опубликовал одну замечательную работу, где первый указал на новый источник энергии звездного лучеиспускания. Этой работой дается возможное решение: «почему энергия солнца и звезд не уменьшается заметно со временем и до сих пор не истощилась». Большое будущее этих идей Ландау признают Бор и другие ведущие ученые.

Нет сомнения, что утрата Ландау как ученого для нашего института, как и для советской, так и для мировой науки, не пройдет незаметно и будет сильно чувствоваться. Конечно, ученость и талантливость, как бы велики они ни были, не дают право человеку нарушать законы своей страны, и, если Ландау виноват, он должен ответить. Но я очень прошу Вас, ввиду его исключительной талантливости, дать соответствующие указания, чтобы к его делу отнеслись очень внимательно. Также, мне кажется, следует учесть характер Ландау, который, попросту говоря, скверный. Он задира и забияка, любит искать у других ошибки и когда находит их, в особенности у важных старцев, вроде наших академиков, то начинает непочтительно дразнить. Этим он нажил много врагов.

У нас в институте с ним было нелегко, хотя он поддавался уговорам и становился лучше. Я прощал ему его выходки ввиду его исключительной даровитости. Но при всех своих недостатках в характере мне очень трудно поверить, чтобы Ландау был способен на что-либо нечестное.

Ландау молод, ему представляется еще многое сделать в науке. Никто, как другой ученый, обо всем этом написать не может, поэтому я и пишу Вам.

П. Капица

На это сдержанное и доказательное письмо ответом было молчание. Ходили разговоры о диком обвинении, выдвинутом против Ландау: шпионаж в пользу фашистской Германии. Капица пишет новое письмо.

П. Л. КАПИЦА — В. М. МОЛОТОВУ

6 апреля 1939, Москва
Товарищ Молотов!

За последнее время, работая над жидким гелием вблизи абсолютного нуля, мне удалось найти ряд новых явлений, которые, возможно, прояснят одну из наиболее загадочных областей современной физики. В ближайшие месяцы я думаю опубликовать часть этих работ. Но для этого мне нужна помощь теоретика. У нас в Союзе той областью теории, которая мне нужна, владел в полном совершенстве Ландау, но беда в том, что он уже год как арестован.

Я все надеялся, что его отпустят, так как я должен прямо сказать, что не могу поверить, что Ландау — государственный преступник. Я не верю этому потому, что такой блестящий и талантливый молодой ученый, как Ландау, который, несмотря на свои 30 лет, завоевал европейское имя, к тому же человек очень честолюбивый, настолько полный своими научными победами, что у него не могло быть свободной энергии, стимулов и времени для другого рода деятельности. Правда, у Ландау очень резкий язык и, злоупотребляя им, при своем уме, он нажил много врагов, которые всегда рады ему сделать неприятность. Но при весьма его плохом характере, с которым и мне приходилось считаться, я никогда не замечал за ним каких-либо нечестных поступков.

Конечно, говоря все это, я вмешиваюсь не в свое дело, так как это область компетенции НКВД. Но все же я думаю, что я должен отметить следующее, как ненормальное:

1. Ландау год как сидит, а следствие еще не закончено, срок для следствия ненормально длинный.

2. Мне, как директору учреждения, где он работает, ничего неизвестно, в чем его обвиняют.

3. Главное, вот уже год по неизвестной причине наука, как советская, так и вся мировая, лишена головы Ландау.

4. Ландау дохлого здоровья, и, если его зря заморят, то это будет очень стыдно для нас, советских людей.

Поэтому обращаюсь к Вам с просьбами:

1. Нельзя ли обратить особое внимание НКВД на ускорение дела Ландау.

2. Если это нельзя, то, может быть, можно использовать голову Ландау для научной работы, пока он сидит в Бутырках. Говорят, с инженерами так поступают.

П. Л. Капица

Письма эти — акт высокого гражданского мужества Петра Леонидовича Капицы. Иногда теперь приходится слышать: все, мол, верили, что арестованные действительно враги народа, все молчали. Как видно из этих документов, не все верили, не все молчали. Дело в личной порядочности, мужестве, отваге. И еще мудрости.

Не случайно так настойчиво повторяет Капица строки об остром языке и сложном характере Ландау. Он так объясняет причину недоброжелательного отношения к нему некоторых коллег: зависть к таланту, личная обида. Ученый как бы подсказывает НКВД выход из ситуации. Ведь главная цель Петра Леонидовича — любой ценой спасти погибавшего в тюрьме Ландау.

Что сыграло решающую роль в успехе? Упорство Капицы, его международный авторитет, мудрая тактика, находчивость? После последнего письма его приглашают к «высокому начальству» НКВД и там дают ознакомиться с пухлым томом «дела». Ландау был в таком состоянии, что подписывал все самые чудовищные и одновременно нелепые обвинения. Капица, как он потом рассказывал, понял, что опровергать страница за страницей все эти дикости немыслимо, в них можно утонуть. Он отодвинул «дело» в сторону, убежденно повторяя слова о полной вздорности обвинения Ландау в шпионаже.

П. Л. Капица поручился за «врага народа», взял его «на поруки», вполне понимая, какую это таит опасность для него самого.

— Он спас мне жизнь,— не раз говорил Ландау, отпущенный под «личное поручительство» Капицы.

П. Л. КАПИЦА — Л. П. БЕРИИ

26 апреля 1939

Прошу освободить из-под стражи арестованного профессора физики Льва Давидовича Ландау под мое личное поручительство.

Ручаюсь перед НКВД в том, что Ландау не будет вести какой-либо контрреволюционной деятельности против советской власти в моем институте, и я приму все зависящие от меня меры к тому, чтобы он и вне института никакой контрреволюционной работы не вел...

П. Капица

Нелепость этой бумаги ясна теперь каждому. Но тогда участникам драмы было не до смеха.

Известно, что Берия на всю жизнь возненавидел Петра Леонидовича Капицу. Ведь он вырвал из его рук столь крупную добычу, как Ландау, настоял на своем. Много раз пытался Берия свести счеты с ученым, но во время войны это не удавалось: работы академика Капицы имели огромное оборонное значение, его научный авторитет в мировой науке не допускал расправы.

Случай представился в 1946 году. Капица вспылил и из-за постоянных конфликтов с Берией отказался дальше участвовать в ядерных работах, которые правительство поручило возглавлять Берии. Ученый решительно попросил освободить его от работы под руководством Берии, написав, что оркестром не может руководить дирижер, не умеющий читать партитуру. Тут же Капицу увольняют из созданного им института, где он был бессменным директором, а потом и из Московского университета.

На своей даче на Николиной горе, в сарае, Петр Леонидович вместе с сыном Сергеем, тоже физиком, и своим постоянным помощником Сергеем Ивановичем Филимоновым создает лабораторию и работает в ней восемь лет.

Любопытно, что самому этому институту, словно для того, чтобы отодвинуть от него уволенного с работы создателя и директора Капицу, срочно присваивают имя прекрасного человека и ученого, но не имеющего к Институту физических проблем никакого отношения,— Сергея Ивановича Вавилова. Лишь в 1955 году Капица вернулся на пост директора Института физических проблем.

Более жестоко расправиться с ученым Берии не удалось: приходилось считаться с международным научным авторитетом академика, его связями с ведущими физиками мира, а главное, с тем, что ученый продолжал работать, и работы его были нужны.

Но это произойдет потом. А пока в 1940 году Петр Леонидович Капица хочет довести до конца «дело по спасению» Ландау, «врага народа», взятого на поруки. Он решает выдвинуть его кандидатуру на выборах в члены-корреспонденты АН СССР.

П. Л. КАПИЦА — В. М. МОЛОТОВУ

31 марта 1940, Москва
Товарищ Молотов!

В связи с предстоящими довыборами в Академию наук О. Ю. Шмидт просил меня, за болезнью академика Вавилова, сговориться с ведущими физиками, как Иоффе, Вавилов, и представить список возможных кандидатов. Научная общественность единодушно указывает на Ландау как на сильного кандидата. Но они не знают, что он на моих поруках. Так как я не знаю никого из руководящих товарищей, кроме Вас, кто (бы) это тоже знал, то я решился Вас побеспокоить по этому вопросу и спросить, является ли это препятствием для выдвижения его кандидатуры?

Надо сказать, что характер Ландау улучшился, он стал мягче и более дисциплинирован и, если пойдет так дальше, то, может быть, он станет совсем сносным человеком. Научно он работает очень много и по-прежнему блестяще. За год сделал две хорошие и крупные работы.

Чтобы Вас не затруднять, то если до конца этой шестидневки (срок представления списка Шмидту) я не получу от Вас указаний, то буду считать, что кандидатуру Ландау выдвинуть можно.

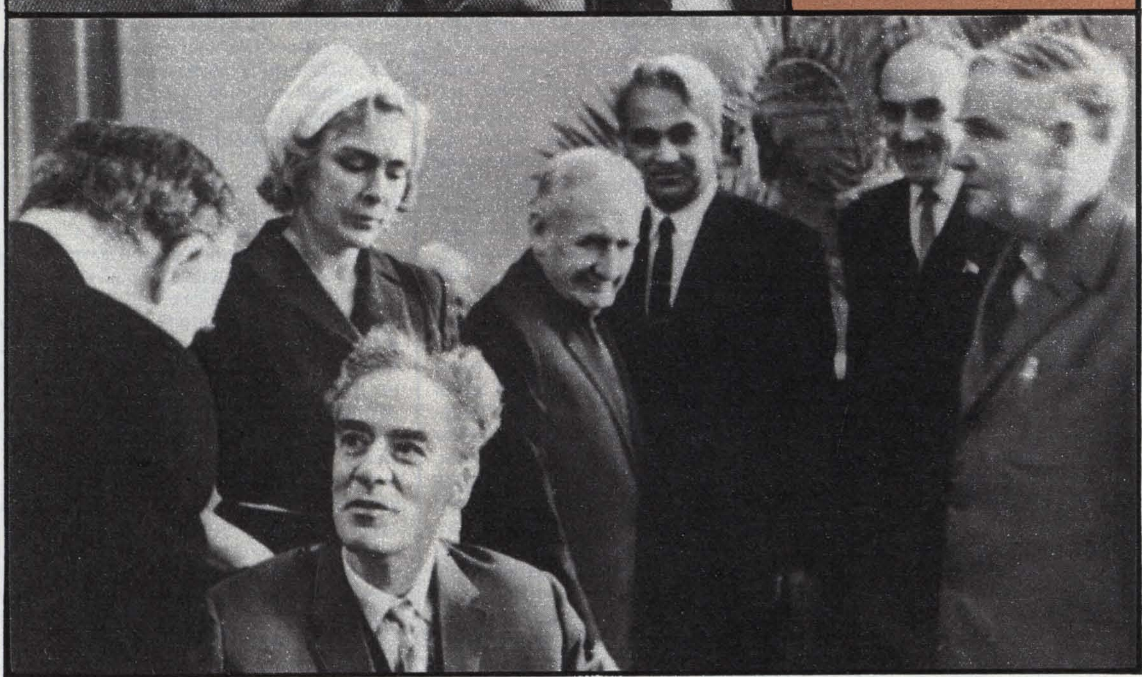
(П. Капица)



У входа в Украинский физико-технический институт. Крайний справа Петр Капица, рядом с ним Лев Ландау. Харьков. 1933 год.



Нильс Бор и Лев Ландау на «Празднике Архимеда» в МГУ в 1961 году.



Л. Д. Ландау принимает поздравления ученых с присуждением ему Нобелевской премии. Справа налево: академики П. Л. Капица, Н. Н. Семенов, М. В. Келдыш, И. Е. Тамм.

Фото Валерия Генде-Роте.

В. А. ФОК — П. Л. КАПИЦЕ

19 января 1941, Ленинград

Дорогой Петр Леонидович!

Посылаю Вам отзыв о работах Л. Д. Ландау и очень прошу Вас дать переписать его на машинке и двинуть его в ход, а мне прислать 1 экземпляр, который я мог бы оставить у себя. Если нужна моя подпись в машинописном экземпляре, то пришлите мне его на подпись.

Я бы не затруднял Вас просьбой о переписке, но я собираюсь ехать на 2 недели в дом отдыха в Петергоф и боюсь, что если я не пошлю Вам отзыва сейчас, то все дело задержится.

Посылаю Вам также представление на имя Физ/ико/-мат/ематического/ отд/еления/ о кандидатуре Льва Давидовича.

Ландау непременно нужно провести в члены-корреспонденты, и я надеюсь, что это удастся.

Искренний привет Вам и Анне Алексеевне.

Преданный Вам
В. Фок

П. Л. КАПИЦА — В. А. ФОКУ

24 января 1941, Москва

Дорогой Владимир Александрович!

Посылаю Вам переписанную характеристику работ Л. Д. Ландау. Я сделал в ней три маленьких изменения, которые отмечены в оригинале. По существу они ничего не меняют, но я боюсь, что к некоторым Вашим выражениям могут придраться наши академические «зубры», истолковав их не в том доброжелательном смысле, в каком Вы их употребили в своем отзыве. Если эти изменения Вас не устраивают, восстановите исходный текст от руки.

Посылаю Вам также Ваше представление Л. Д. Ландау в перепечатанном виде. Если Вы не возражаете, я присоединю в этом представлении свою подпись к Вашей.

Привет и лучшие пожелания.

Искренне Ваш
П. Л. Капица

Приводим полный текст характеристики Л. Д. Ландау.

«ХАРАКТЕРИСТИКА

Доктор физико-математических наук ЛЕВ ДАВИДОВИЧ ЛАНДАУ является одним из наиболее крупных физиков-теоретиков. Его работы заслужили всеобщее признание в нашей стране и за ее пределами. Теоретические исследования Л. Д. Ландау захватывают очень широкую область современной физики — ядерной физики, физики низких температур, физики твердого тела. Во всех этих областях он выдвинул целый ряд оригинальных идей. Отличительной чертой работ Л. Д. Ландау является их тесная связь с экспериментом; все они касаются самых актуальных и острых проблем современной физики. Характерной чертой Л. Д. Ландау является большая строгость мышления, которая часто сдерживает размах его фантазии. Л. Д. Ландау прекрасно владеет математическим аппаратом современной физики.

Л. Д. Ландау создает вокруг себя школу молодых советских физиков, воспитанию которых уделяет очень много времени. Им подготовлен ряд молодых ученых, которые теперь имеют уже степень доктора и занимают профессуру. Л. Д. Ландау ведет также семинар в университете.

Нужно отметить, что с ним консультируют свои теоретические работы большинство наших ученых — редко можно встретить работу по теоретической физике, выходящую у нас в Союзе и не имеющую выражения благодарности Л. Д. Ландау.

Проявляемая Л. Д. Ландау подчас чрезмерная строгость в оценке работ и его собственная большая индивидуальность часто подавляют индивидуальность его учеников.

Л. Д. Ландау охотно занимается консультациями, в частности ведет разбор всех работ, которые присылаются в институт. Он охотно применяет также свои знания для решения технических проблем, возникающих в институте.

Л. Д. Ландау создан ряд учебников по теоретической физике, по которым учится наша молодежь.

Вне стен института Л. Д. Ландау ведет работу по популяризации научных знаний, неоднократно выступая с докладами по радио и т. д. Он написал также ряд популярных статей.

Ландау часто выступает на научных заседаниях и с чрезвычайной прямотой критикует обсуждаемые работы. Неумение считаться при этом с индивидуальностью и самолюбием критикуемого нередко вызывает недовольство.

Вся жизнь Л. Д. Ландау целиком протекает в его научной работе. В общественно-политической жизни он принимает участие только со стороны научно-общественной как в институте, так и вне его».

Но в 1941 году (началась война) выборы в Академию наук вообще не проводились. Л. Д. Ландау был избран сразу действительным членом Академии наук СССР в ноябре 1946 года. Он занял положенное ему место в отечественной и мировой науке, создал всемирно известную научную школу физиков-теоретиков.

Он был счастлив в научном творчестве, в учениках, в друзьях. Замечательная работа по созданию теории сверхтекучести была доведена до конца. Впоследствии за комплекс исследований в этой области и Лев Давидович, и Петр Леонидович получили Нобелевскую премию: Ландау — в 1962 году, Капица — в 1978-м.

Последней большой радостью Ландау был приезд Нильса Бора в Москву в 1961 году. А в январе 1962 года Ландау попадает в аварию...

П. Л. КАПИЦА — ОГЕ БОРУ.
Копенгаген.

Ландау попал в тяжелейшую автокатастрофу. Пожалуйста, вышлите немедленно самолетом специальный препарат против тяжелого отека мозга в ампулах для внутримышечных инъекций. Номер рейса сообщите немедленно.

Капица.

Телеграмма дана сыну Нильса Бора, крупному физику, директору Института Бора.

В ноябре этого же 1962 года Нильс Бор умирает. Но смерть его проходит мимо сознания Ландау. Вероятно, он опять мог бы сказать: «Это было уже не при мне...»

Анна ЛИВАНОВА

Письма предоставлены для публикации Павлом РУБИНИНЫМ.

В последние два года обсуждение работы Госконцерта не сходит со страниц газет и журналов. Мы чувствуем себя все время под критическим обстрелом. Но часто запал наших оппонентов направлен не по адресу. Сказанное не означает, конечно, что я считаю, будто наша организация лишена каких-либо недостатков и все упреки несправедливы. Бывают у нас и просчеты, и разгильдяйство, и безынициативность, и не всегда наши сотрудники справляются со своими обязанностями так, как должны были бы. Да и вся политика культурных обменов нуждается в корректировке и совершенствовании самой формы сотрудничества. Действительно, не годы, а десятилетия мы зачастую держали нашу публику на «голодном пайке», не доверяя ей, разберется ли, поймет ли, что плохо, что хорошо. Впрочем, это была политика не только Госконцерта, а большинства учреждений культуры.

ПРОШУ СЛОВА!

ПОВЕРЯЯ АЛГЕБРОЙ ГАРМОНИЮ,

ИЛИ КОЕ-ЧТО О КОММЕРЧЕСКИХ ТАЙНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ «ЖИЛАХ»

•

Стыдно сказать, что только сегодня становятся достоянием советского зрителя многие произведения таких мастеров мирового экрана, как Феллини, Антониони, Бергман, Коппола. Та же история произошла с группой «Битлз», которую мы в семидесятые годы просто боялись пригласить: что за «жуки» такие заморские? Или известные группы «Дип Пёрпл», «Лед Зеппелин», «Генезис», «Пинк Флойд», «Юрая Хип»... Лишь в последние два года мы смогли познакомить публику с теми, о ком раньше только читали в печати, кого знали по кассетам и пластинкам, привозимым из-за рубежа или скудно выпускаемым отечественной «Мелодией». И люди слушали в свое удовольствие Адриано Челентано, Демиса Руссоса, Тото Кутуньо, «Модерн Токинг», уже не надеясь на встречу. Вы не представляете, сколько писем с просьбой пригласить этих артистов каждый год, да что год — каждый месяц — получал Госконцерт! И вот мы постепенно стали наверстывать упущенное. Да, жаль, что Демис Руссос сегодня другой, чем десять лет назад, что встреча с Мишелем Леграном, чьи «Шербурские зонтики» звучали двадцать лет назад чуть ли не каждый день по радио, состоялась только теперь, что Адриано Челентано приехал к нам не в момент пика своей песенной славы, а в популярной английской группе «Юрая Хип» осталось всего два музыканта из «старичков». Но мы считали, что были просто обязаны пригласить тех артистов, которые являются частью истории мировой эстрады,— без них трудно представить процесс становления современной популярной музыки.

До последнего времени и итальянская эстрада практически не была у нас представлена. Последние ностальгические воспоминания относятся к середине шестидесятых годов, когда к нам приезжали участники знаменитого «Кантоджиро». Минуло два с половиной десятилетия, и только в прошлом и позапрошлом году нам удалось привезти в Москву практически всех самых популярных певцов Италии. Это были представители разных поколений и направлений итальянской песни, которые приняли участие в программах «Цветы и песни Сан-Ремо» и «Москва — Рим с песней о мире». Мы проводили эти концерты совместно с телевидением. Зал Лужников на концертах итальянских артистов был переполнен. Правда, какой-то незадачливый журналист умудрился написать, что эти концерты пробили брешь в бюджете Госконцерта, не потрудившись даже получить информацию у нас или в Министерстве культуры.

Признаюсь, меня вообще коробит, когда на страницах печати появляются глубокомысленные рассуждения некомпетентных людей о деятельности Госконцерта, спекуляции на теме вместо конструктивных предложений, вместо анализа действительных, а не мнимых проблем. Ради красного словца в ход идут даже сенсационные «разоблачительные сообщения» о том, что из директорского кабинета якобы исчез дорогостоящий импортный музыкальный комбайн, которого там, кстати, никогда и не было. Органы юстиции приносят нам извинения за то, что после публикации им приходится заниматься несуществующим, как выясняется, «делом». Не менее странными мне показались и недавние многочисленные публикации по поводу гастролей шоу-группы «Модерн Токинг». В нынешнем году не только Госконцерт, но и редакции газет, радио, телевидения были буквально завалены письмами их молодых поклонников. И вот мы с огромным трудом нашли возможность пригласить певца Томаса Андерса и его музыкантов. Дитер Болен, как нам объяснил импресарио гастролей, в последнее время практически не выступает, занят сочинением музыки. Судя по письмам после гастролей,— а их только в адрес Госконцерта и передачи «Госконцерт СССР представляет...» пришло около тысячи,— зрители остались довольны. Нам бы радоваться, а мы только успеваем оправдываться. Кто же недоволен? Журналисты, ополчившиеся на Госконцерт и «Модерн Токинг» не за то, что Андерс плохо пел или шоу их не устроило, а за то, что импресарио не разрешал давать интервью и делать съемку. Но, позвольте, разве это должно определять отношение к артисту? Разве раньше, когда телевидение и радио столь часто запускали в эфир «Модерн Токинг», манера исполнения, музыкальный стиль группы кому-нибудь не были известны? Как могло случиться, что чисто внешние обстоятельства заслонили суть? Не все в порядке и с журналистской этикой — честно говоря, я был поражен, когда некоторые журналисты преподнесли своему читателю непроверенную информацию. Как можно было написать, что Томас Андерс пел почти всё под фонограмму, да еще и с согласия Госконцерта! Действительно, было четыре популярных шлягера, такие, как «Шерри Леди», «Маленький Луи», которые известны всем как песни, обычно исполняемые Дитером и Томасом вместе. Они-то и шли под фонограмму. А уж все остальные песни шли «в живую», и Томас Андерс отнюдь не пытался обманывать публику, так тепло его принимавшую.

Хочу обратить внимание еще на один аспект той публикации, которая меня повергла просто в изумление. Это обсуждение на страницах печати гонораров зарубежных исполнителей. Дело в том, что Госконцерт — организация не только творческая, но и коммерческая. И мы, как коммерсанты, во время финансовых переговоров стараемся, естественно, сэкономить государству как можно больше валюты. Поэтому наша договоренность всегда остается в тайне. И действительно, представьте себе, нам удалось сбавить на столько-то процентов сумму гонорара тому или иному зарубежному исполнителю, а при переговорах с другой «звездой» у нас это не вышло. И вот первый наш партнер, пользуясь данными, открытыми прессой, в следующий раз уже не пойдет на уступки, а будет требовать того же, что получил его коллега. Мне кажется, профессиональному журналисту должно быть ясно: все, что касается финансовой стороны внешторговских операций, должно сохраняться в тайне. И за разглашение подобной тайны не только у нас, но и за рубежом можно нажить серьезные неприятности.

Честно говоря, после таких публикаций просто опускаются руки. Думаешь: зачем мучиться самому, всем сотрудникам, с огромным трудом проводить такие непростые гастроли и в результате получать неприятности? Может быть, лучше жить спокойно, по старинке, приглашая примелькавшиеся имена, а не выискивать головоломные решения, чтобы договориться, скажем, как мы это наметили, с такими группами, как «Генезис», «Дип Пёрпл», «Скорпионс».

Я говорю «головоломные пути» не ради красоты слога. Мы располагаем далеко не безграничными валютными средствами. Поэтому приходится быть дипломатами и финансистами, чтобы за разумный гонорар приглашать хороших артистов. Должен, однако, сказать, что здесь все непросто. Специфика и трудность нашей работы заключаются в том, что интересы творческие мы не должны противопоставлять коммерческим, и наоборот. Получается ли это у нас? Не всегда. Существуют законы рынка и в области культуры — это надо принимать во внимание. «Торговать» здесь дело непростое. Во-первых, в силу того, что нет школы импресарио, и никто этому искусству не учит. Недавно я прочитал в «Советской культуре» реплику Раймонда Паулса по этому поводу и абсолютно с ним согласен. Надо учить людей работать в шоу-бизнесе и не воспринимать это сочетание слов как негативное явление западной культуры. Развлекательное искусство — и мы наконец это поняли — нам тоже нужно, и оно должно быть на высоком профессиональном уровне. Во-вторых, сам факт, что приходится торговаться, хотя это благородно называется — вести коммерческие переговоры, включает преодоление сложного психологического барьера. Но мы, если хотим приносить государству доход, а не убытки, вынуждены овладевать этим искусством. Мы уже подготовили наши предложения и надеемся, что они будут приняты. Главный вопрос для нас, конечно,— это разделение дотации и коммерции. Еще одна сложная проблема — оплата выступлений советских артистов за рубежом. По существующей практике она зависит только от «ставки» артиста, и ему, по существу, безразлично, добьемся мы или нет во время финансовых переговоров увеличения его гонорара. Как иронически заметил мне недавно один наш крупный музыкант, удовлетворение от наших коммерческих побед он получает только моральное, потому что они никак не сказываются на его оплате. А ведь, казалось бы, все очень просто: чем больше

Продолжение на стр. 27.



Юбилей



Фотограф
Юрис КАЛНИНЬШ

СЕРДЕЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ К МИРУ

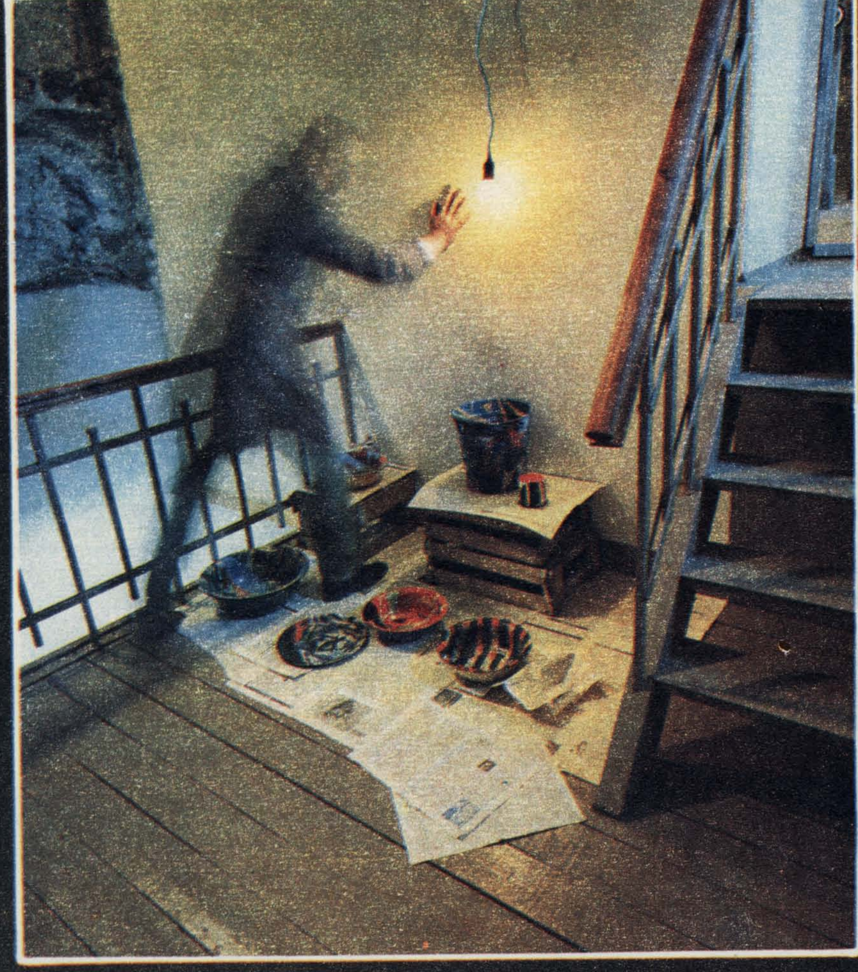
Перед нами — работы рижского фотографа Юриса Калниньша. Первое, что бросается в глаза, — они сделаны профессионалом. В каждой — интересное творческое решение данной ситуации, или, как говорят, темы, но еще важнее, что во всех фотоснимках ощущается сердечное отношение к миру. А мы, зрители, всегда чувствуем, если этого нет.

Вот снимок «Юбилей». Достоверность освещения и об-



Взгляд

Этюд в цвете

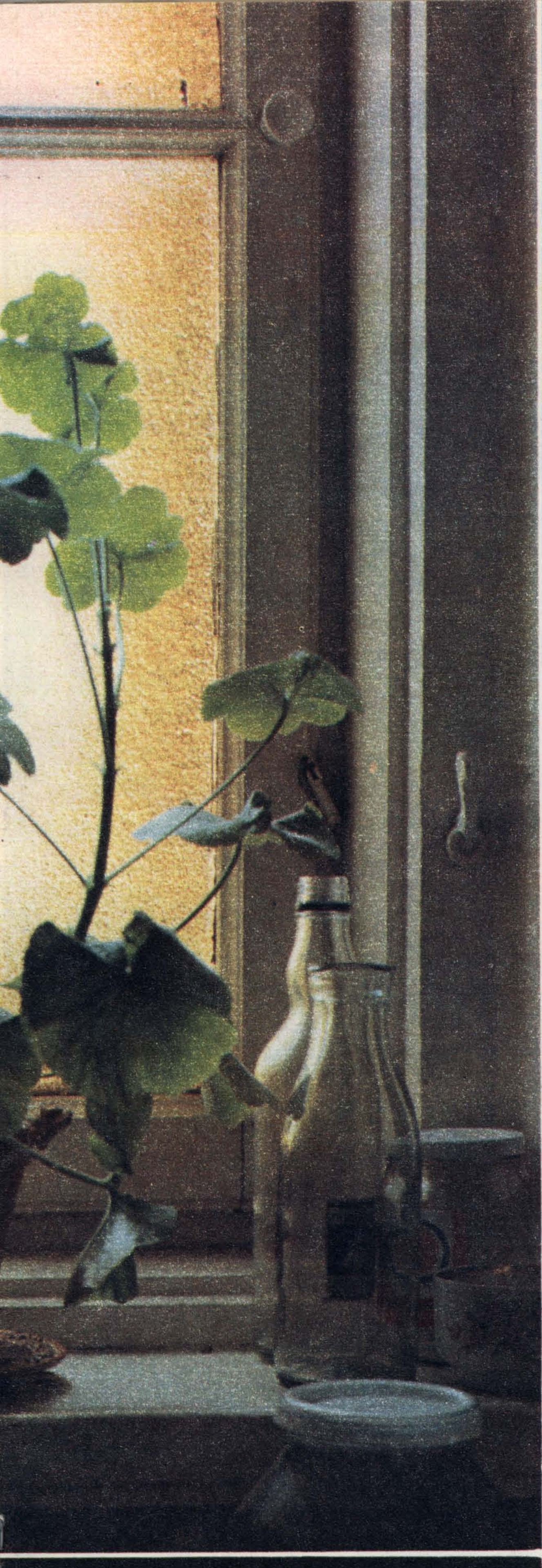


становки лишь немного нарушается декоративностью букета цветов. Но фотограф и не скрывает, что люди пришли «запечатлеться», и цветы придвинуты в кадр для праздничности момента. И вот они смотрят на нас из того мгновения, в котором их остановил затвор аппарата Юриса Калниньша.

Однажды Юрис признался, что этот снимок из его любимых. Сам не знает почему.

Труднее всего писать о фотографии «Спящий ребенок», так как в ней затронуты очень тонкие и нежные струны души. В ней, как и в предыдущих снимках, нет никаких специальных эффектов, даже ракурс воспринимается как взгляд с обычной точки зрения. Художник раскрывает перед нами обаяние и поэтичность повседневности.

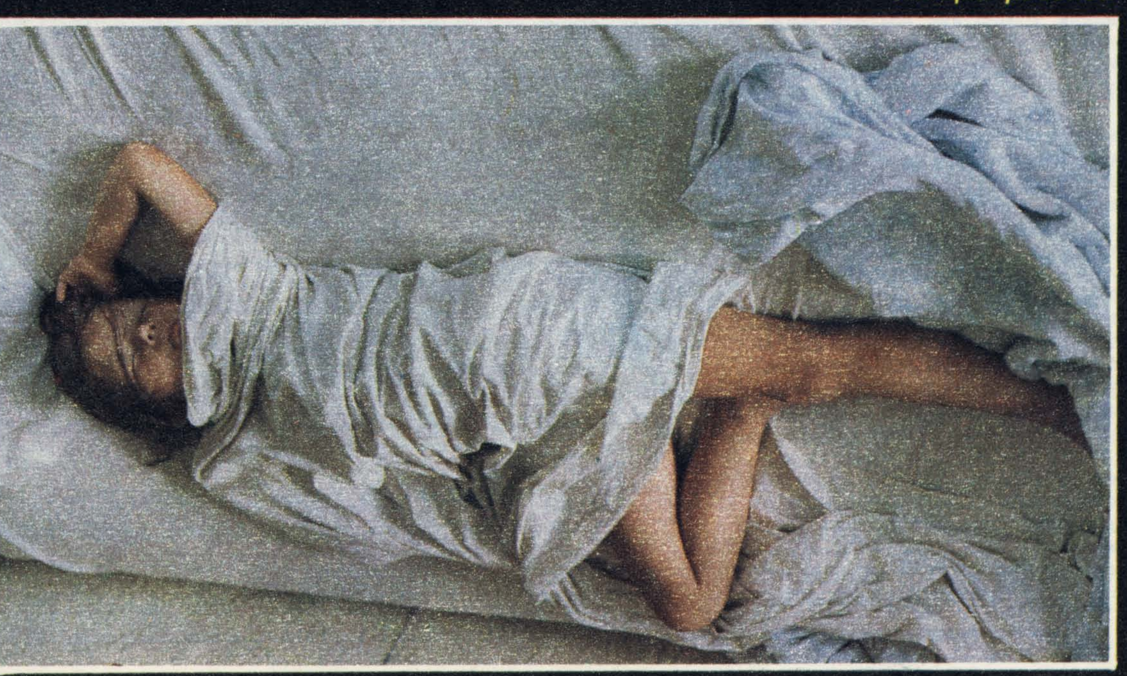
Изысканная композиция из складок красной драпировки в фотоработе «В мастерской художника» способна соперничать с живописью. Главное в ней — не центральная обнаженная фигура, не мастерская, а напряженное взаимодействие двух цветов. Красного — горячего, напряжен-



В мастерской художника

Натюрморт

Спящий ребенок



ного, живописно-красивого и холодного синего — цвета свободного, открытого пространства...

Недавно Юрис сказал: «Сегодня стремлюсь к простоте формы. Очень ценю осмысленную документальную фотографию, которая без внешних эффектов показывает жизнь человеческую, показывает правду...»

К этим словам, мне кажется, не нужны пояснения.

А фотографии перед вами.



Николай РЫШКОВ

НЕ РАЗ, БЫВАЛО, СМОТРИШЬ МАТЧ С УЧАСТИЕМ ИНОЗЕМНОЙ КОМАНДЫ И МЕЛЬКНЕТ: «ЭТОГО ИГРОЧКА НЕПЛОХО БЫ К НАМ». О ВРАТАРЯХ НИКОГДА ТАК НЕ ДУМАЛОСЬ, НИКАКОЙ ЗАВИСТИ. ЯСНО, ЧТО И В ДРУГИХ КРАЯХ ПОЯВЛЯЮТСЯ ОТЛИЧНЫЕ ВРАТАРИ, ОДНАКО, ПО МОИМ ДАВНИМ НАБЛЮДЕНИЯМ, НИГДЕ ТАК ПОСТОЯННО, БЕЗ ПЕРЕБОЕВ, КАК У НАС. СКОЛЬКО ЛЕТ МИНУЛО ПОСЛЕ ТОГО, КАК «В ГОЛУ» СТОЯЛ НИКОЛАЙ ЕВГРАФОВИЧ СОКОЛОВ (ВИДЕВШИХ ЕГО В ДЕЛЕ ОСТАЛИСЬ УЖЕ ЕДИНИЦЫ), А КЛАССНЫЕ ВРАТАРИ НЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ. ВОТ И СЕЙЧАС МЫ КАК ДОЛЖНОЕ ПРИНИМАЕМ ВЫДВИЖЕНИЕ МОЛОДЫХ: А. ЖИДКОВА В «НЕФТЧИ», А. САЦУНКЕВИЧА В МИНСКОМ «ДИНАМО», Д. ХАРИНА В «ТОРПЕДО» (ТЕПЕРЬ В МОСКОВСКОМ, «ДИНАМО»), А. КАЛИНАУСКАСА В «ЖАЛЬГИРИСЕ». СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СЕКРЕТ, ЕСТЬ ЛИ ПРАВО ГОВОРИТЬ О ВРАТАРСКОЙ ШКОЛЕ?

ФАНТАЗИЯ НА ВРАТАРСКУЮ ТЕМУ

Лев ФИЛАТОВ

Мы давно согласились с тем, что современные нападающие, игроки середины поля и защитники существенно, зримо отличаются от форвардов, хавбеков и беков прошлого. И если сейчас, отдавая дань одаренности и подвигам кого-то из некогда блиставших, говорим, что он и в наши дни был бы хорош, непременно добавляем: «Притерся бы, перестроился, привык». «Звезды» футбола загораются не сами по себе, их выдвигает та командная игра, которую выработало время. А некоторым из «звезд» удается и самим, своим примером, продвинуть футбол вперед. Разумеется, есть в опыте мастеров былых дней черты и достоинства неувядаемые, передающиеся от поколения к поколению. И все же игра, которую предлагают нашему вниманию сегодня, игра, взломавшая жесткие исходные схемы, переключившая скорости на предельные, поощрившая общекомандную тактику с привлечением к любому маневру неожиданных сочетаний футболистов, совершенно естественно, неминуемо потребовала, чтобы каждый из тех, кого называют полевыми игроками, отвечал духу времени.

Ну хорошо, будем считать, что с теми, кто в поле, все ясно. А как вратари? Отличаются ли они чем-то от старых голкиперов? Или, быть может, искусство защиты восемнадцати квадратных метров ворот от бешеного, назойливого мяча каким было, таким и осталось?

Закрываю глаза и пытаюсь представить, в каком движении, самом характерном, чаще других повторявшемся, запомнился мне Владислав Жмельков, спартаковский вратарь необычайной, единственной в своем роде судьбы. Ему было отпущено всего-навсего полтора сезона, парню из подмосковных Подлипок, и он покорил всех. Шутка сказать, его в тридцать девятом голосованием признали лучшим даже не вратарем, даже не футболистом, а лучшим спортсменом страны! Так вот, Жмелькова я вижу в броске. В каком угодно углу, в нижнем, в верхнем, под перекладиной,— он летит, тянется в ниточку, кончиками пальцев отводит мяч, и стадион поднимается на ноги, замолкает в удивлении, прежде чем разразиться овацией. «Один Жмель на такое способен!» — говорили на трибунах. Шесть или семь пенальти ему били за те полтора сезона, и ни одного он не пропустил. Бросок был его ответом на удар.

А теперь попробуем в воображении остановить сегодняшнего спартаковского вратаря Рината Дасаева в его характерном движении. Для меня он высокий, изогнувшийся, с пойманным мячом в поднятых руках: угрозы как не бывало.

Полвека разделяют эти скульптурные композиции. Скажут: разные люди, у каждого своя манера. Думаю, что такое предположение к разгадке не приблизит. Мне представляется, что неспроста Дасаев нисколько не напоминает Жмелькова. Другие времена, другая и игра.

Не раз, бывало, смотришь матч с участием иноземной команды и мелькнет: «Этого игрочка неплохо бы к нам». О вратарях никогда так не думалось, никакой зависти. Ясно, что и в других краях появляются отличные вратари, однако, по моим давним наблюдениям, нигде так постоянно, без перебоев, как у нас. Сколько лет минуло после того, как «в голу» стоял Николай Евграфович Соколов (видевших его в деле остались уже единицы), а классные вратари не переводятся. Вот и сейчас мы как должное принимаем выдвижение молодых А. Жидкова в «Нефтчи», А. Сацункевича в минском «Динамо», Д. Харина в «Торпедо» (теперь в московском «Динамо»), А. Калинаускаса в «Жальгирисе». Существует ли секрет, есть ли право говорить о вратарской школе?

Алексей Хомич, которого в сорок пятом восхищенные его молниеносными прыжками англичане нарекли тигром, много лет работал фотокорреспондентом в «Футболе — хоккее». На следующий день после матча приносил он пачку снимков и раскладывал их на столе редактора.

— Алексей Петрович, вы же стояли возле тех ворот, куда забили два мяча. Где же эти моменты?

Хомич мнется, чешет в затылке.

— Да как можно было пропускать такие мячи? Я ему, пижону, кричу...

Дальше следовал показ: Хомич вставал перед дверью, которая должна была изображать ворота, приседал, выбрасывал в сторону руку.

— Надо было сделать шаг влево, а потом отталкиваться...

Я терпеливо смотрел и слушал, зная, что мое редакторское внушение бесполезно: опять Алексей Петрович «играл», позабыв про затвор фотокамеры. Так до конца и осталось его любимым занятием подсказывать из-за спины вратарям.

Лев Иванович Яшин говорил мне: «Ну кто нас, вратарей, мог учить? Побьет второй тренер по воротам — и на том спасибо. Друг у друга перехватывали. Я у Хомича... Он, наверное, еще у кого-нибудь...»

Хомич однажды, в минуту нечаянной крайней откровенности, поведал мне историю, которая его самого смущала и страшила.

— Оставляли меня, пацана, дома с сестренкой, ей, должно быть, год был. А ребята со двора хором орут: «Хома, выходи!» Как выходить, сестру не оставишь? Я ее в одеяло завертывал — и вниз. И укладывал вместо штанги. Она спала, а мы бились. Так я вам скажу, под ту руку, где она лежала, забить мне было невозможно. Вот что мы, дурачье, вытворяли. Если бы я увидел своего сына за таким делом, не знаю, что бы с ним сделал...

Хомич сидел потупившись: и сейчас, годы спустя, его жуть брала. Молчал и я: что тут скажешь, оба в возрасте дедов. И, чтобы снять неловкость, хоть чуть оправдаться, Хомич повторил:

— Честно говорю, под ту руку я бы мышонка не пропустил, сам бы убился...

Дасаев написал книгу «Команда начинается с вратаря». Из нее можно узнать, что его сначала опекал вратарь астраханского «Волгаря» Юрий Маков, что неизгладимое впечатление на него, мальчишку, произвел Анзор Кавазашвили, приезжавший со «Спартаком» на товарищеский матч в Астрахань, что позже он был многим обязан Александру Прохорову в «Спартаке» и Вячеславу Чанову — в сборной.

Какой разговор, вратарь — надежда команды, ее щит и броня, о нем так прямо и говорят: «выручил» или «не выручил». Он живет общими интересами с командой, может быть в ней влиятельным человеком, капитаном, как был Яшин в свое время, как ныне Дасаев в «Спартаке» и в сборной. Однако в ремесле своем, вратарском, он один, сам по себе. Вратарей тянет друг к другу, их разговор особенный, и на футбол они смотрят по-своему, и игра у них своя и переживания иные, чем у остальных мастеров. Сколько мне ни приходилось слушать Анатолия Акимова, Алексея Хомича, Льва Яшина, Алексея Леонтьева, Владимира Масляченко: обо всем матче — вкратце, общими словами, а о вратарях — хоть час, хоть два, малейшее движение помнят, разберут. И всегда с сочувствием, с готовностью войти в положение, оправдать, ну а уж если «пенка», то с горечью, с обидой за то, что посрамлен человек их профессии, словно и они повинны.

Пожалуй, все-таки есть право говорить о советской вратарской школе. Школа эта не в каких-то специальных учебных группах и отделениях, не в штате преподавателей и уж, конечно, не в велеречивом рассусоливании о «неиссякаемом роднике» и «непрерывающейся эстафете». Школа в том, что у нас издавна сложился не отвлеченный, не расплывчатый, а по-рабочему точный образ классного вратаря, и каждый юноша, дерзнувший встать между тремя штангами, знает уровень, только достигнув которого, он может заслужить признание. Среди полевых игроков терпят тех, кто «так себе», но вратарь с подобной аттестацией — это невыносимо, беда, одни страдания. И юные вратари вкалывают, помнят, что прощения им не будет, ничто не поможет, если не тянуться за самим Яшиным, не повторить его путь гордого, молчаливого труженичества.

Обязан признаться, что Ринат Дасаев довольно долго как вратарь внушал мне сомнения. И вряд ли я в ту пору смог бы внятно объяснить, что мне мешает считать его надежным. Сейчас, когда сомнения улетучились, я понял их причину. Его тонкая фигура, его тонкое лицо почему-то наводили на мысль о возможности рисовки, опрометчивости, легкомыслия. Наверное, потому так казалось, что все вратари, которых я прежде видел, и те, кого здесь упоминал, были сложения более внушительного, прочного, с лицами обветренными, резкими, грубоватыми. А тут ну прямо-таки нежный молодой человек. Что, если везун? Верно, ни в «Спартаке», ни в сборной лишних голов не пропускал, то и дело вытаскивал мячи головоломные. А что, если вдруг попадет под град ударов?

Фото Анатолия БОЧИНИНА

Своими сомнениями я ни с кем не делился и уж тем более не позволял себе их выразить в журналистской работе. Оно и смешно было бы, если Лев Яшин твердо как-то мне сказал: «Дасаев? У нас — лучший!», когда Николай Петрович Старостин, начальник «Спартака», столь же твердо отозвался: «Ринат — человек умный и в коллективе ведет себя умно и играет с умом».

Потом еще один разговор с Яшиным. И такое его рассуждение:

— Труднее стало вратарей оценивать. Матч идет, сидишь, смотришь, а вратарь без дела, пустяками занимается. Тут, хлоп, мяч пропустил. И непонятно, что за вратарь?

Яшин произнес это, как ему свойственно, мягко, с улыбкой, не настаивая, скорее недоумевая.

А для меня его слова были дорогим подтверждением того, над чем думал.

Если вы помните, наш разговор начался с вопроса: отличаются ли нынешние вратари от старых голкиперов?

Да, отличаются. И сильно. Говоря попросту, прежде вратари были в игре чаще, чем теперь, им чаще били.

Защитники играли против нападающих «один в один», до «чистильщика» додумались позднее, и вероятность прорыва, прямого выхода к воротам была не то что велика, а постоянна. Да и наличие пяти (потом четырех) нападающих, каждый из которых чувствовал себя обязанным оправдать свое наименование, свой номер на спине, свое участие в игре ударом ради гола,— все это обеспечивало вратарям занятость сверх головы. Если сейчас вратарь в течение матча отобьет дватри сильных удара, он удостаивается печатных похвал. Прежде это дало бы повод отозваться, что он прохлаждался, бездельничал.

Если до сих пор фамилии Трусевича, Идзковского, Акимова, Хомича, Никанорова, Маргания, Леонтьева, Зубрицкого, Иванова окружены нимбом почтительности, то это потому, что в каждом матче они совершали бесстрашные подвиги: кидались в ноги, отбивали удары в упор, ныряли в свалку — словом, показывали себя невероятными храбрецами. Вратари «эры дубль-ве» были настолько влиятельными фигурами, что частенько победы записывали целиком на их счет.

Матчей, главными героями которых становились вратари, было сколько угодно. Один из таких матчей даже в ту пору буквально потряс стадион «Динамо». В 1950 году играли ЦДКА и «Зенит». Играли в одни ворота, зенитовские. А их защищал Леонид Иванов, в сером невидном свитере, вроде спецовки, в рабочей кепчонке, плотный, широкогрудый, с сильными руками. Как только не били ему знаменитые армейцы — все тщетно, мяч — у него! Стадион ахал и вздыхал, большинство-то было за ЦДКА. Но постепенно, как это бывает с футбольной переменчивой публикой, она приняла сторону вратаря и уже не хотела, чтобы он пропустил, была не прочь, чтобы чудо свершилось. Иванов и не пропустил, ничья — 0:0. Его, Иванова, ничья, целиком и полностью. Два года спустя тренер армейцев Б. Аркадьев, когда ему поручили создание сборной, ворота доверил Иванову. Мне легко предположить, что тот матч стоял у него перед глазами.

Во Льве Яшине сошлось решительно все, чтобы вылепить образ всем миром признанного вратаря. Все — это преданность делу, бесстрашие, неуязвимость перед славословием, готовность признать, что в чем-то сплоховал, неприятие бесчестности в любом виде, уважение к противникам, привычка к тренировочному труду, высокий рост, длинные руки, чуткость тела к ответу на пущенный в его сторону мяч, называемая реакцией, и даже то, наконец, что, будучи рожден для вратарского занятия, ни на что другое не отвлекался.

И, тем не менее, думаю, лепка его образа оттого удалась в полной мере, что он поднялся в то время, когда вратарям, а, значит, и ему, много били. Он вырос на том, что отразить десяток «мертвых» мячей за матч — не доблесть, а норма, он был готов брать на себя всю ответственность. Сколько я ни наблюдал за Яшиным, он никогда не кидался с упреками на своих товарищей-защитников, и, если гол ему забивали, его длинная фигура выражала смущение и досаду, виноватым он считал себя одного.

Что же изменилось? Сокращение числа форвардов до двух — не объяснение, и кроме них есть готовые стрельнуть по воротам игроки середины поля и даже защитники. Совершенно иной сделалась нынче тактика обороны. У хорошо организованной, мобильной, классной команды, едва противник перехватит мяч, в оборону включаются все десять полевых игроков. Если кто-то один безучастен — уже изъян. И перед воротами возникает движущаяся, живая стена. Не знаю, ведется ли подсчет (в футболе все считают), но и на глаз видно, как часто удары по воротам принимают на себя защищающиеся, и мяч отлетает далеко в сторону без вмешательства вратарей. Форвард не знает, скольких ему надо обвести, чтобы вырваться и ударить, обойдет одного, второго, нет, тут как тут третий. Такая теперь раскидывается по-шахматному продуманная, частая заградительная сеть.

И обратите внимание: нынешние вратари, если вдруг в обороне мелькнет просвет, пусть угроза кончилась ничем, горячо отчитывают партнеров за этот просвет. Они — разгадчики, им мало быть заряженными реакцией на удар, в них ценится реакция на игровые метущиеся перемены. Рискну заметить, что по умению угадывать ситуацию и разряжать ее аккуратным, быстреньким и чистеньким выходом на перехват мяча, по умению отдавать распоряжения партнерам-защитникам лучшие из ныне выступающих вратарей превосходят своих предшественников.

Но игра остается игрой, рвутся самые крепкие сети, увлекшихся наступлением ловят на стремительных контратаках, форварды по-прежнему наносят «мертвые» удары, хоть и реже, чем во времена Г. Федотова, А. Пономарева и Н. Симоняна; есть и сейчас «звезды», кого издавна называют «грозой вратарей»,— О. Блохин, Р. Шенгелия, О. Протасов, И. Беланов, С. Родионов... Работы в прямоугольнике ворот хватает, несмотря на то, что многое в этой работе стало выглядеть иначе.

Ринат Дасаев и воплотил в себе, выразил то, как игра вратаря ответила на новые веяния в футболе. Он — вратарь современный, эры тотального футбола с его разнообразными комбинационными перестроениями, с участием большого числа игроков и в наступлении и в обороне, когда любая угроза стала замаскированной и надо ее предвидеть, разгадать, быть готовым к любому обороту событий. И, если именно так представлять его обязанности, то тонкая фигура и тонкое лицо оказываются как нельзя более уместными.

Уже упоминалось, что в футболе в чести язык цифр. И про Дасаева все сосчитано. Учрежден Клуб вратарей имени Льва Яшина. В него приняты те, кто в официальных матчах 100 раз уходил с поля, не пропустив мяча. Сейчас Дасаев занимает в таблице клуба верхнюю строчку, «сухих» игр у него 215, больше даже, чем у Яшина.

Дасаев — дважды чемпион страны, совладелец всесоюзного рекорда «Спартака», который на протяжении последних девяти чемпионатов брал одно из призовых мест. С 1979 по 1987 год — в списке «33 лучших», издаваемом федерацией, восемь раз — вратарь № 1; пять раз — чаще, чем кому-либо — ему вручали приз «Огонька», в 1982 году журналистами он был избран лучшим футболистом года. Участвовал в двух чемпионатах мира, защищал ворота сборной СССР в 74 встречах (Яшин — в 75). Был приглашен в сборную мира на матч со сборной английской лиги в Лондоне минувшим летом.

Читатель вправе спросить: зачем понадобилась столь подробная «визитная карточка» в очерке, к месту ли она? Понадобилась по трем причинам.

Первая — Дасаеву 30 лет. Сколько бы ни твердили, что нечего заглядывать мастеру в паспорт, тридцать есть тридцать, сакраментальное число. Пусть он играет подольше, на здоровье. Но рубеж этот, вольно или невольно, обязывает оценить сделанное мастером.

Замеченный в команде второй лиги в 1977 году, в следующем году Дасаев встает в ворота «Спартака» с благословения тренера К. Бескова, а еще год спустя — и сборной страны. Играет без перерывов, без «творческих кризисов», охочий, жадный до своего вратарского дела, от сезона к сезону набирающий силу, уверенность, зоркость разгадчика, избавляющийся от юношеской инфантильности, от изломанности жестов и выпадов. И, по-моему, кроме всего прочего, в душе невидимо соревнующийся с другими вратарями — ровесниками и теми, кто помоложе. Это его личный турнир, турнир самолюбия, спортивной гордыни.

Вторая причина — пробел в этой визитной карточке. После того, как было учреждено звание заслуженного мастера спорта, много лет его присваивали по сумме заслуг. В последнее время это звание сделалось «нормативом», им в футболе отмечают победителей международных соревнований, практически выигрывавших европейский Кубок кубков. Не узок ли, не формален ли принцип применительно к командным видам спорта, не порождает ли он странности, когда высшего спортивного звания удостаивается игрок, ничем не примечательный, несколько раз выходивший на замену в «нормативном» турнире, тогда как игроки, славно потрудившиеся, скажем, в сборной, остаются не отмеченными? Понятно, я имею в виду не одного Дасаева. Но он своим примером, как и подобает капитану сборной, заставляет задуматься: не нарушена ли справедливость?

И третья причина, наконец,— Дасаев играет. А это значит, что и мячи в свои ворота пропустит, и хоть раз в году наломает дров, как в печальной памяти матче с бременским «Вердером», и желтую карточку вдруг схватит, как в октябре во встрече с «Араратом», и будет попадать под огонь болельщического скорого суда. Обычная история: святочные картинки не для играющих футбольных «звезд», на нашей памяти доставалось Боброву, Стрельцову, Яшину, Месхи, Блохину... Все с ними утрясается — но, правда, когда перестают играть. И нередко бывает совестно за то, что не разглядел, недооценил, придирался. Верно, что нас за душу берет футбол сегодняшний, томит — завтрашний. Но и без вчерашнего, без нашей памяти, нам не жизнь. И хочется знать меру, вовремя отдать должное. Потому я и взялся рассказать, что думаю о вратарях восьмидесятых годов, о Дасаеве, их представляющем.

Вполне может быть, кто-то не согласится со мной, я не настаиваю, пусть это будет просто импровизация, догадка, фантазия на вратарскую тему.

●

Колония — это не просто ряд бараков, «колючка» и тявканье сторожевых собак. Колония — это место, где сконцентрированы людские страдания, боль и беды. Особенно, если это колония для подростков.

Дмитрий ЛИХАНОВ,
специальный корреспондент «Огонька»

— Сам себя я могу судить где угодно, — сказал Маленький принц.— Для этого мне незачем оставаться у вас.

Антуан де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»

I

...А утром приходит новый этап.

Или вечером.

И в звенящую комарьем жару, и в нещадный мороз.

Первым делом их отведут в санобработку: обреют «под ноль» и запустят под горячий душ. А они, по нескольку недель не знавшие воды, будут блаженно подставлять под ласковые струи свои маленькие нататуированные тела. Купленные матерями рубахи и брюки прополощут в специальном растворе, прожарят на пару, дабы изничтожить тюремных вшей и всякую иную заразу, а взамен выдадут казенное: серые портки, серые робы, серые береты, черно-синее исподнее и — то ли в насмешку, то ли еще по какой причине — красные домашние тапочки. Если зима, то еще ушанку и телогрейку. Только после этого под конвоем молоденьких контролеров их отправят в подслеповатое, засиженное мухами помещение, име-

КОЛЮЧЕЕ НЕБО

письма из колонии



Фото Сергея ПЕТРУХИНА

нуемое карантином. Десять дней, прежде чем выйти в зону, этап будет жить здесь: слушать лекции о распорядке дня, о личной гигиене, международном положении, о правах и обязанностях воспитанников, спать под запором на скрипучих железных нарах и видеть покуда еще цветные детские сны, гулять в маленьком дворике и тут же справлять нужду в деревянный, густо засыпанный хлоркой клозет.

А однажды — в понедельник или в четверг — один из них, худющий, лопоухий мальчик, прозванный по-взрослому жестко «этапником», поднимет кверху глаза и заметит, что вместо крыши над двориком для прогулок натянута колючая проволока.

— Какое небо колючее,— скажет мальчишка. А потом глухо заматерится. Ибо лишь теперь поймет, что его крохотная жизнь отныне протекает совсем в другом измерении. Как у Алисы, очутившейся в Зазеркалье.

Только им, даже если захочешь, из колючего этого Зазеркалья по своему желанию не выбраться.

Кому год, кому два, кому три...

II

Я был здесь уже когда-то.

Помню октябрь, промозглый, слякотный. Ветер. Мокрый снег в лицо. На дороге — лужи. Впереди — сквозь серую занавесь дождя — крашенный известкой забор, ветхие деревянные вышки, «колючка» да жалобный скулеж сторожевых псов. Вошли в кабинет. Тепло. Между оконных стекол шуршат, давятся, прут по истерзанным останкам своих собратьев сотни, тысячи божьих коровок. Иные пытаются взлететь. Но не могут. Форточка на запоре.

— Это какой-то ужас,— говорит, протягивая мне влажную ладошку, начальник колонии.— От божьих коровок просто житья нет. Так и мельтешат... А туда,— он махнул в сторону забора,— туда вам нельзя. Разве не знаете? У нас же тут бунт был. Из окошка — пожалуйста...

Так я увидел колонию в первый раз — сквозь пыльное окно кабинета: длинный строй черных телогреек, пронзительные, как удар клинка, взгляды слезящихся глаз, немой шепот. В воздухе носился запах сырых головешек, да где-то очень далеко грохотал на ветру оборванный лист ржавого железа.

Вечером того же дня офицер повел меня на близлежащую сопку, чтобы опять взглянуть на колонию. На сей раз сверху.

Но сколько бы ни глядел: ни сверху, ни сбоку, ни сквозь пыльное окно, я все равно так и не смог понять Зазеркалья. А тем более тогда — в особые даже для колонии дни.

III

«10 сентября 1983 года в 19.00 при построении осужденных из производственной зоны начальником колонии, состоявшем в этой должности третий день, было принято решение держать в строю всех осужденных до появления одного отсутствующего и водворить в ДИЗО* пять отрицательно характеризующихся осужденных за нарушение формы одежды. Распоряжение, несоразмерное допущенным нарушениям, вызвало недовольство осужденных, и они разошлись.

В 21 час 25 минут группа осужденных в количестве 120 человек окружила помещение ДИЗО, угрозами и физической силой сломила сопротивление работников колонии, стеснила их и, взломав двери ДИЗО, освободила из него всех содержавшихся нарушителей. Повсеместно начали портить имущество: поджог ДИЗО, бани, прачечной, магазина, клуба, школы, битье окон, повреждение производственного оборудования и инвентаря, расхищение товаров из магазина. Несколько осужденных, завладев в производственной зоне клеем на спиртовой основе, привели себя в состояние опьянения. Осужденные неоднократно предпринимали попытки проникнуть на КПП и в помещение штаба, но были остановлены дежурным нарядом... Сделав проломы в основном ограждении, 132 осужденных вышли за пределы колонии.

В 2 часа 30 минут 11 сентября в колонию были введены сотрудники аппарата УВД и ИТУ*, четыре пожарные машины.

В течение 11 сентября проводилась профилактическая работа, выявление и изоляция активных участников хулиганских действий, розыск бежавших. Ущерб составил 60 000 рублей. Жертв нет».

«В ночь с 13 на 14 июня 1986 года в 23 часа 20 минут группа воспитанников второго отряда покинула общежитие и направилась в ДИЗО. Взломав дверь, они освободили 18 воспитанников. Другая группа пыталась поджечь забор разделительного коридора, а затем, сломав его, проникла в производственную зону, где разбила окна и двери цехов, ИТУ, медсанчасти, похитила инструменты и медпрепараты. Присоединившись к хулиганствующим, осужденные 4-го и частично 3-го отрядов пытались разгромить помещение КПП, забрасывая его камнями и металлическими

* ДИЗО — дисциплинарный изолятор.

* ИТУ — исправительно-трудовое учреждение.

прутьями. Пресекая хулиганские действия и возможность массового побега осужденных, контролер Максименко и милиционер Самсонов произвели предупредительные выстрелы. Вместе с ними выстрелы из автоматов произвели контролеры на вышках...»

* * *

И вот я снова здесь. На сей раз уже внутри. Брожу порой пустынными, порой суетливыми улицами и закоулками этого маленького «государства», говорю с его старожилами и новичками, с теми, кто правит и кто в бесправии, думаю и хочу понять: что же это за «страна» такая, что движет ее обитателями, когда они выражают возмущение или безропотно чеканят шаг на горячем асфальтовом плацу, что за мысли и душевные порывы у них там внутри — под телогрейками и серыми беретами, какие законы — гласные и негласные — ими руководят, а в конечном итоге — это волновало меня больше всего — кем они выйдут отсюда, из воспитательно-трудовой колонии, какими станут людьми?

IV

В медсанчасти переписываю маленькие, в полтетрадного листа, медицинские карточки: «Жалобы на периодические боли в области сердца, состоял на учете у нарколога по поводу употребления наркотика», «Диагноз: олигофрения в стадии дебильности. Поступил из детского дома. Страдает недержанием мочи», «Олигофрения в стадии дебильности, пассивный гомосексуалист».

— Конечно, это проблема,— объясняет мне врач-психиатр Сергей Викторович Афанасьев,— вернее, три проблемы: наркомания, олигофрения и гомосексуализм. Сейчас у нас на учете стоит около 100 олигофренов. Раньше было больше — около 40 процентов. Их родители — потомственные алкоголики во втором и даже в третьем колене. А ребятишки впервые пробуют спиртное примерно в 6—7 лет. Хронических наркоманов много — человек шестьдесят. Некоторым из них суд предписал принудительное лечение. Лечим. Правда, сульфазин не самое лучшее средство. Что касается гомосексуалистов — этих трудно посчитать, а тем более контролировать. Вот такие дела. Теперь ясно?

Нет, не ясно. Не ясно, почему, рожденные безгрешными, они вдруг начинают тыкать себе в вену грязным шприцем, отчего, прожив на свете всего шесть-семь лет, наливаются водкой, кто помрачил их сознание и с детства вверг в бездну порока. Кто виноват в этом? С кого спросить?

— Звать меня Аркадий Сергеевич. Сижу по сто сорок четвертой за кражу. Годов мне уже семнадцать. Мамка с папкой пьяные в лодке катались. Папка выпал, и его под баржу затащило. Достали его, а он уже синий. Но я про это не помню. Рассказывали. Потом мамка в другой раз захотела замуж. Я ей говорю, если ты его возьмешь, я его убью. А она взяла. Но я его не убил, хотя он и был сукой. Отчим меня выучил материться и пить водку. Первый раз я выпил водки, когда мне шесть лет исполнилось. Вот с тех пор и пью. А как напьюсь, совсем дураком делаюсь. Выйду на улицу с ружьем, и, если кто задирать станет, я его на мушку. До сих пор удивляюсь, как это я никого не убил! Да... Мать я тоже бил по-всякому. Я вообще-то дурак. Меня два раза в психбольнице лечили. Я сам не знаю, отчего. Говорят, что дурак. И братишка младший в психбольнице лечился. А ему всего шесть годов. А сестренка родилась слепая... Когда мы с отчимом выпивали, он меня в школу не пущал. Да мне и самому тамошние порядки не нравились. Одну четверть в первом классе я проучился. Все буквы какие-то рисовал, палочки. Читать и писать не умею. Неграмотный я. Вот. Выпью, значит, и пойду я гулять. Один раз целый год гулял по тайге. Тайга мне дом родной, а может, и лучше. У меня собаки были, ружье. Охотился. Белку бил, соболя. А шкурки у солдат на патроны выменивал. Один раз сохатого уложил. Оленя видел, да стрелять в него не стал. Больно жалко. В тайге хорошо!

Он вынул из-за уха свалявшийся окурок, чиркнул спичкой, глубоко затянулся. На запястье мелькнула и ушла в рукав чернильная наколка: крупными печатными буквами — зло.

— А, это?— он улыбнулся.— У меня много разных. Вот тут, на плече,— голая баба, кандалы и ножик. Тут вот по-матерному написано. Ребята в тюрьме накололи. А про зло я сам придумал, потому что, кроме зла, я ничего и не видел.

Детские страдания сами по себе, конечно же, не поддаются никаким, даже самым точным математическим расчетам, но собранные воедино, выстроенные — как на вечерней поверке — в бесконечный скорбный ряд, они могут сказать, нет, прокричать о многом. Девяносто процентов колонистов выросли без отца. Каждый седьмой — вообще круглый сирота, иными словами — казенный человек, ибо сызмальства только и делал, что мыкался по домам ребенка, детским домам, интернатам и спецПТУ. Для таких колония — очередное прибежище, не более, потому как там, за высоким забором, нет у них ничего родного. Только свобода.

И еще одна цифра — самая, на мой взгляд, важная. Лишь троим мальчикам пели мамы колыбельные песни. Всего лишь троим. А их здесь почти несколько сотен...

На следующий день после моего приезда в колонию мальчишки писали сочинение. Писали долго, трудно, поскольку перед этим полдня навкалывались в производственной зоне да и тема сочинения была не из простых: «О счастье и несчастье, о добре и зле».

Добро и зло... Сколько же мыслителей прошлого — от евангелистов до Толстого, от Сенеки до Достоевского — мучались над осознанием этих извечных истин бытия. А дети? Что скажут они — эти обездоленные, душевно истерзанные обитатели колонии? Что есть зло и что есть добро в их огороженном заборами мире? Какого рода здесь счастье и горести? Вчитаемся в эти строки.

«Мне семнадцать лет. У меня есть отец, но нету матери. Иметь родную мать — это великое счастье! Отца в 1985 году посадили в ЛТП на два года. Для отца это тоже было огромное несчастье и для меня тоже. В этом же году сел на два года и я».

«Воспитывался я у своей бабушки двенадцать лет. За это время я видел свою мать раза два. Потом бабушку сбило машиной насмерть. Приехала мама и увезла меня в Благовещенск. Приехав туда, я стал покуривать, начал пить и воровать».

«Самое большое счастье, когда я сижу на свидании с родными, разговариваю с ними хоть и через стекло, когда я получаю добродушные письма от родных или от девчонки, с которой я когда-то на воле был счастлив, сидя рядом с ней какие-то минуты. Теперь мне пришлось на четыре года забыть обо всем».

«Отец у меня был нехороший, часто пил водку и из-за этой водки мать с ним разошлась. А потом она вышла за другого. Сначала он был нормальный, и я подумал: вот оно — счастье, будем жить, как все нормальные люди. Но вскоре и его сгубила эта проклятая водка. Сначала он бил нас с сестренкой, а потом ударил маму. Тогда я взял палку и ударил его. На следующий день я ушел из дому и стал воровать».

«Счастье — это когда у тебя все есть и ничего не надо воровать, нигде ничего не надо искать, когда у тебя все есть под рукой. Несчастье — когда ничего не имеешь и ты лезешь воровать и попадаешь в места лишения свободы».

...Их много. Пожалуй, даже слишком много для такой небольшой колонии, как эта,— отроков, не ведающих счастья. Жизнь каждого — сплошная череда несправедливости, горя, обид и страданий, которые не всякому взрослому дано изведать. А тут дети.

По-девчоночьи стеснительный и замкнутый, Толя сосредоточенно ковыряет ногтем мозоль на своей широкой мужицкой ладони, говорит, не поднимая глаз, а прежде чем ответить, подолгу подбирает в уме слова. В колонии он уже четвертый год, скоро ему на волю, но идти Толе некуда, потому как почти с младенчества мыкается Толя по приютам и специнтернатам. А когда я спросил его о самом счастливом дне его жизни, он так и не смог припомнить ничего счастливого.

— Ну хорошо, а самый несчастный день. Был такой?

Он наконец сковырнул свою мозоль. Опять долго молчал. Потом еле слышно сказал:

— Был.

Еще помолчал и добавил:

— Когда отец маму убил. На моих глазах. Я орал, плакал, а он маму топором... рубил. Не спрашивай больше, ладно?

V

Он дотянулся до умывальника и жадно, как жеребенок, ловил ртом звонкие струйки прозрачной воды. Потом нахлобучил берет и побежал в самый конец строя. Он самый маленький, и потому его место там. Степе четырнадцать лет, росту в нем — один метр десять сантиметров — совсем малыш. Только роба взрослая, приходится подворачивать рукава. И ботинки велики — видно, кладовщик долго подбирал для него подходящую обувку, да так и не нашел, не рассчитана на таких малышей здешняя амуниция.

— За что сидишь, Степа?

— Сто сорок четвертая. За кражу.

— А чего унес?

— Магнитофон.

— И сколько же тебе дали?

— Три года.

Потом я прочитал Степино дело. Действительно, отомкнул «Запорожец», вытащил оттуда переносной магнитофон стоимостью, кажется, сто сорок семь рублей и пошел домой слушать. Правда, и прежде он был не безгрешен: то велосипед умыкнет, то еще что-нибудь. Но «справедливость» в конце концов восторжествовала: «опасного преступника» засудили и — туда его, в тюрягу. На перевоспитание! А я вот думаю: справедливо ли это, соразмерно ли: за магнитофон да за велосипед на целых три года лишать Степку детства?

Впрочем, так думаю, как выяснилось, не я один. Замполит колонии Аркадий Васильевич Карниевский выложил на стол несколько худеньких картонных папочек. Сказал: «Вот этих — ни за что». Говоря «ни за что», он имел в виду ребячью вину, которая никоим образом не соответствует столь суровому наказанию, как лишение свободы.

Читаю: «В ночь с 5 на 6 февраля 1986 года Коротков О. Г. по предварительному сговору с не достигшими возраста уголовной ответственности Полищуком, Филипповым, Белокопытовым, путем подбора ключа проник в складское помещение ЖЭУ-21, откуда тайно похитил 6 ватных курток стоимостью 15 р. 69 коп. каждая, 20 пар рукавиц стоимостью 87 коп. каждая пара, 12 комплектов хлопчатобумажных костюмов стоимостью 13 р. 70 коп. каждый комплект, причинив при этом государству материальный ущерб на общую сумму 275 р. 40 коп.». И дальше: «Короткова Олега Геннадьевича признать виновным и назначить наказание 3 года лишения свободы без конфискации имущества с отбыванием в ВТК* общего режима».

Согласно материалам другого дела мальчишка уже полтора года сидит за то, что украл лодочный мотор, третий получил два года за мопед. И буквально в каждом деле эти слова: «по предварительному сговору», «тайно похитил». Самих же пацанов тоже называют как-то необычно, по имени-отчеству.

Я не знаю судей, которые лишали свободы всех этих лопоухих Олегов Геннадьевичей и Иванов Петровичей. Нет, быть может, с формальной точки зрения приговоры эти безупречны. Но ведь есть и другая сторона, иная точка отсчета. Не матерых же преступников судили они — детей. Оступившихся, ошибающихся, подлинно несчастных детей. И это прежде всего.

Знаете, честное слово, кричать хотелось: да что же это деется, товарищи народные судьи, ведь мы же с вами взрослые люди и прекрасно понимаем, что к чему, разве шесть телогреек и двадцать пар строительных рукавиц столь значимый ущерб для государства, чтобы за них да на три года, да тем более если учесть, что ущерб этот давным-давно возмещен. Или лодочный мотор, который наверняка уже возвратили его владельцу. Что же это творится, товарищи судьи?

Предвижу закономерный упрек — а как же неотвратимость наказания: прости им раз, другой, третий, так они на шею сядут, пойдут ножичком баловать направо и налево, тырить кошельки у честных граждан, да и вообще — до чего же мы тогда, мол, докатимся?

Согласен: всепрощенчество неуместно. Но ведь и не о нем речь. Речь о том, так ли уж необходимо нашему обществу изолировать на два, три, четыре года пусть блудных, пусть грешных, но ведь своих же, своих детей! И какое воспитание лучше: на свободе или за решеткой?!

«В колонии мне больше всего не нравится, когда я посмотрю вокруг и куда ни гляну — везде забор с ко-

* ВТК — воспитательно-трудовая колония.

лючей проволокой. И даже не видишь из-за забора ничего, кроме верхушек деревьев и крыш домов».

«Мое несчастье в том, что я попал в места лишения свободы и всю свою юность — с 14 до 18 лет — провел именно здесь».

(Из сочинений)

VI

Теперь, быть может, о самом главном, о том, без чего любая колония вообще немыслима, а детская тем более, — о воспитании.

Здесь их не так много, не так много военных, призванных заменить пацанам папу и маму. Всего шестеро — профессиональные педагоги. У остальных среднее юридическое и даже техническое образование. Прикинул: на сто мальчишек приходится всего пятеро воспитателей, из коих только один профессионал. Таких, мягко говоря, непедагогических пропорций теперь уже нигде не встретишь: ни в детдоме, ни в интернате, а уж тем более в цивильной школе. Там воспитателей даже в избытке. В колониях же хронический недобор, притом запланированный и узаконенный штатным расписанием. Словно бы это и не спецучреждение вовсе, где каждый, буквально каждый, нуждается в неотложной педагогической помощи, а высокогорный курорт для юных скрипачей с аристократическим происхождением. И тут закрадывается грешная мысль: отчего это так получилось, что на детей во всех смыслах благополучных затрачивается — по крайней мере количественно — гораздо больше воспитательных усилий, нежели на тех, кто в этих усилиях нуждается прежде всего, на колонистов? Уж не оттого ли, что человек — неважно взрослый он или ребенок,— оказавшись на скамье подсудимых и посланный за решетку, автоматически получает клеймо изгоя, а стало быть, и тратиться на него — в том числе и по части воспитания — вовсе не обязательно. И так сойдет.

Ну, да ладно. В конце концов даже один воспитатель — если он подлинный, а не для галочки,— большая нравственная сила: не то что сотню, тысячу пацанов наставит на путь истинный — примеров тому много, и нет смысла все перечислять. Поговорим лучше о качестве воспитания. Ибо, как ни крути, главное в колонии все-таки это.

В день, когда конвоиры сдают под расписку новый этап, на каждого вновь прибывшего заводится дневник — обычная школьная тетрадочка зеленого цвета. Здесь день за днем, год за годом будет записываться каждый его шаг, каждый добрый или, наоборот, дурной поступок, а вдобавок — с точностью до часа — педагогические действия воспитателя. Школьная зеленая тетрадочка, что зеркало, отражает весь мир исправительно-трудовой педагогики. Вглядимся же в него повнимательнее:

«Осужденный ходит грязным. За собой не следит. Проведена беседа о личной гигиене».

«Осужденный сидел на уроке в шарфе. Было сделано замечание. Не реагировал» (резолюция: 5 суток ДИЗО).

«Отказался ходить строевым шагом, систематически нарушает форму одежды, на замечания не реагирует, выражается нецензурной бранью в присутствии воспитателя» (резолюция: 10 суток ДИЗО).

«Отсутствовал на утренней поверке и зарядке. На замечания выражался грубой нецензурной бранью» (резолюция: выговор).

Вот так. Вот и все воспитание. Да и чего тут мудрить с отпетыми: нашалил, матернулся — в изолятор, не нашалил — можно ограничиться беседой. Простенько...

Разговорились совершенно случайно. Ему семнадцать. У начальства на хорошем счету.

— Откровенно? — переспросил он.

— Конечно.

— Боязно вообще-то.

— Чего так?

— Да ведь на волю скоро. А здесь критики не любят. Могут и постановление пришить.

— Постановление?

— Ну да... Проще говоря, накажут. Чего вы удивляетесь... Постановление в принципе можно схлопотать ни за что. Все зависит от того, какие у тебя отношения с воспитателем. Если слушаешься его — все нормально, а если нет — сгноит в этих постановлениях. Бывало такое.

— Ну, а что, собственно, в этом страшного?

— Не скажите. Система такая: если у тебя много постановлений, на условно-досрочное не попадешь, даже не пытайся, а уж если хоть с одним постановлением освободился — считай, что это и не свобода вовсе. Будешь ходить в милицию отмечаться каждые два часа. Фактически это домашний арест.

Говоря о воспитании, невольно обращаюсь к событиям четырехлетней и прошлогодней давности, к временам волнений, ибо волнения эти были не чем иным, как закономерной реакцией на попрание справедливости и закона, на утверждение в жизни колонии антинравственных, антипедагогических принципов. Вот как сказано об этом в материалах прокурорских проверок:

«В колонии имело распространение грубое и нетактичное обращение с осужденными, появление на службе в нетрезвом виде. В связи с избиением осужденных был привлечен к уголовной ответственности воспитатель Красов. В целях оказания влияния на основную массу осужденных допускалось широкое избрание в актив лиц, принуждавших других осужденных к повиновению с помощью силы. Этим лицам создавались особые льготные условия отбывания наказания, определялись улучшенные условия содержания, покрывались нарушения режима, оказывалось моральное поощрение, имелись случаи подлога при оформлении документов на УДО *, не пресекалась практика понуждения и прислуживания. Конфликт между активом самодеятельных организаций и нарушителями режима, не поддерживающими администрацию, проявился в групповых избиениях осужденными друг друга. Низкая требовательность и личная недисциплинированность руководителей ВТК, недостаточная профессиональная подготовка привели к тому, что процессы, происходящие в среде осужденных, нередко становились неуправляемыми».

«В 1985—1986 гг. на почве пьянства допустили нарушения трудовой дисциплины и общественного порядка 37 сотрудников колонии».

«27.3.87 воспитатель шестого отряда, превысив свои полномочия, избил осужденного за курение в неположенном месте».

Он в общем-то хороший парень — этот воспитатель. Молодой, энергичный, умница. Стоим, разговариваем о том, о сем. Окончил пединститут, получил диплом преподавателя французского, несколько лет после этого перебивался случайными литературными и техническими переводами, да здесь, на Дальнем Востоке, специалисты с французским не самый большой дефицит. Словом, жить стало трудно, а у него семья, дети. Решил пойти в колонию воспитателем. Платят здесь неплохо. Конечно, деньги — вещь немаловажная, понятно. И я вовсе не собираюсь его за это судить, однако такое вот приобщение к детям не чем иным, как браком по расчету, не назовешь. А требуется по любви. Не в этом ли корень полнейшей педагогической беспомощности, коей пытаются подменить воспитание самых трудных, самых нуждающихся в сердечной отзывчивости ребят? Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что ни в одной колонии страны нет сейчас ни одного Макаренко. А вот красовых, которые, подобно гоголевским унтерам, чуть что — сразу в рожу, таких, к великому сожалению, пруд пруди. Не знаю, кому как, а мне при этой мысли делается тревожно, ибо кем выйдут наши ребята на волю, во что, кроме власти кулака, будут верить, коли пройдут такое вот выправление?

В этой связи хотелось бы сказать еще вот о чем. Людская душа, а детская вдвойне, не терпит пустоты, а уж если этот душевный вакуум создается, в мгновение ока может заполниться чем угодно, всяческой дрянью и шелухой.

В колонии мне, к примеру, рассказали про одного мальчишку, который по болезни попал в спецгоспиталь для уголовников. А тамошнее начальство не нашло ничего лучшего, как пристроить его в одну палату с махровым вором-рецидивистом, для которого что лагерь, что тюрьма все одно — родимый дом. Парнишка этот, видать, еще ни разу в жизни не встречавший человеческой участливости, а все больше — окрики и подзатыльники, к своему удивлению, участливость эту нашел у ворюги, впитав в себя заодно всю его философию и мораль. Да так крепко впитал, что всего через несколько недель вернулся в колонию совсем другим человеком — копией встреченного рецидивиста.

Преступный мир, кстати сказать, давно ведет борьбу за умы оказавшейся в колониях молодежи. Преступному миру нужны свежие кадры, нужны исполнители, которые за идею воровского братства могут и должны пойти на любые, даже самые страшные преступления.

В Управлении уголовного розыска Хабаровского края мне показали несколько воззваний, написанных матерыми уголовниками в Златоустовской тюрьме. В них, кроме всего прочего, говорится: «Бродяжня, к вам наш призыв — больше внимания молодежи общих и усиленных режимов. Там наша надежда в Будущем!»

Набор фраз? Не только. Прежде всего борьба. И если учесть, сколько в детских колониях так называемых «отрицательно настроенных осужденных» и сколькие из них, очутившись на свободе, совершают новые преступления, в этой борьбе мы выигрываем не всегда. И вот последний тому пример. Один юный «этапник», прослушав в карантине убогую лекцию об активе, прямо так и заявил ошарашенному воспитателю: «Вы что, хотите из нас коммунистов сделать? Не старайтесь, ничего не выйдет...»

VII

«А еще я думаю, что счастье — это иметь хорошую работу».

«Счастье — это жизнь на воле, где можно учиться и работать где хочешь. Было бы желание».

«Вот когда твоя работа нужна людям — это большое счастье».

«Я здесь тоже учусь и работаю, но это уже воспринимается не так».

(Из сочинений)

Они столпились возле ворот, вдыхая запах производственной зоны: запах сырых стружек и солидола.

К вечеру дождь разошелся вовсю: лез под воротник, холодными струйками стекал по позвоночнику. Казалось, только дежурный офицер не обращает на дождь никакого внимания. Сначала он сверил отряд по списку, а теперь начал обыск: ловко обшаривал карманы, штаны, каждую складку робы. Мало ли что: отсюда, из производственной зоны, пацаны несут все что угодно — самодельные ножи, синтетический клей для балдежа, который меняют у вольнонаемных... Через несколько минут огромные, похожие на створки шлюза ворота, распахнутся, и можно будет уйти в свой барак или просто покурить на скамейке.

А завтра новый рабочий день. Поутру и после полудня сюда, в производственную зону, вновь потянется длинная вереница юных арестантов. Зашаркают по асфальту тяжелые ботинки, и простуженные мальчишечьи глотки гаркнут бравурную песню...

Уже в самом названии учреждения — воспитательно-трудовая колония — заложено два благородных с виду смысла: колония должна воспитывать и, кроме этого, воспитывать трудом. Но так ли это на самом деле?

Раньше, говорят, было хуже. Ко времени последнего бунта в колонии числилось восемьдесят безработных мальчишек, прибыль, если и добывалась, то крайне мизерная, планы не выполнялись вовсе, а значит, и зарплата у пацанов была чисто символическая: на карамель не хватало. Нынче дела пошли лучше. За последние полгода производство дало 206 тысяч рублей прибыли, впервые за много лет был выполнен план по производительности труда, все до одного мальчишки трудоустроены. Казалось бы, радоваться нужно да приходить в восторг от столь небывалого трудового энтузиазма. Да только не видел я на ребячьих лицах ни радости, ни восторга. Энтузиазма как такового тоже не было.

...Цех. Даже ламповый свет кажется здесь каким-то ржавым. Только видно мельтешенье изрезанных проволокой рук и десятки стриженых голов, склонившихся над будничной работой. Только слышен стук молотка, дребезжание железок да чей-то надрывный кашель. Здесь, в одном из цехов производственной зоны, арестанты наматывают электромагнитные катушки: одни тянут проволоку, другие наматывают ее на железные сердечники, третьи зачищают контакты, четвертые упаковывают готовую продукцию в деревянные ящики.

Глядя на их однообразные, монотонные движения, я никак не мог отделаться от некоего странного ощуще-

Продолжение на стр. 26.

* УДО — условно-досрочное освобождение.



ПОРТРЕТ САЛОМЕИ. Художник БОРИС ГРИГОРЬЕВ. Париж. 1921 год.

САЛОМЕЯ, ИЛИ СОЛОМИНКА НЕ СОГНУТАЯ ВЕКОМ

Глава из книги «Облако огня». Выйдет в издательстве «Современник» в 1988 году.

В Ленинграде на выставке «Из частных собраний» долго стояла я перед портретом, выполненным художником Чехониным, перечитывала надпись: «Портрет Саломеи Андрониковой, женщины-авиатора. 1916 год». Худощавое лицо, голова наклонена, на груди тонкая рука с длинными пальцами. Дама, женщина из высшего общества, само изящество — и вдруг авиатор. Какой авиатор? Откуда? Она никогда не говорила мне ничего подобного, хотя поговорить о себе любила. Но — стоп. Смутно вспоминаю: рассказывала, что однажды какой-то знакомый летчик поднял ее на аэроплане, полет был показательный, пробный, опасный, а она осмелилась, потому что очень любила всякий шум вокруг себя...

Лариса ВАСИЛЬЕВА

Мы познакомились в 1973 году в Лондоне, где она жила долгие годы и куда я только что приехала жить и работать вместе с мужем, корреспондентом газеты «Известия». С первого взгляда мы привязались друг к другу, и не было месяца, чтобы я не навестила Саломею Николаевну или она не навестила меня. Впрочем, нужно сказать, я бывала у нее чаще, не потому, что старость мешала ей выбраться, а потому, что в ее доме каждый раз находились все новые и новые реликвии, которые она хотела мне показать.

Времена смещались. Лондон и Москва семидесятых, а тут, в ее доме, воздух первых лет века, атмосфера искусства «арт-нуво», книги и картины того времени. Я — современная женщина, и она — человек другой эпохи, и все это так близко, так взаимосвязано, что дух захватывает.

— Бери с собой магнитофон, не теряй ее рассказов: Саломея — живая история,— сказал мне муж. Я последовала его совету, внутренне опасаясь, что Саломея не захочет запечатлеваться на магнитную пленку, дабы когда-нибудь я смогла поведать о ней миру.

— Разумеется, хочу, чтобы вы рассказали обо мне поподробнее. Я тщеславна. Почему бы и нет? Расскажите после того, как я, это самое... издохну. Больше всего на свете не хочу умирать. Хочу жить всегда. Просто до смерти хочу. Моя одна знакомая молодуха лет восьмидесяти все время ноет: «Все болит, скорее бы бог прибрал меня». Знаете, я ей говорю: «Ваша проблема не моя проблема. Я хочу жить, жить, жить».

Мы сидим в ее большой продолговатой кухне за длинным продолговатым столом и ужинаем. Она, как всегда, удивляет кулинарным талантом. Сегодня на моих глазах она готовит шашлык, не вставая, переворачивает шампуры на гриле. Вся левая сторона кухонной стены — огромная репродукция «Герники» Пабло Пикассо. В окне видна уютная зеленая улочка Челси Парк Гарденс. Она высокая, тонкая, седая, волосы коротко острижены, завиты, щеки подкрашены, губы подведены, на ней длинное платье из той породы, которые хозяйки на Западе надевают для гостей.

— Всегда к ужину переодеваюсь в длинное, независимо от того, будут гости или нет. Привычка.

У нее превосходный русский язык, она много читает современных советских книг и любит их пообсуждать. Суждения точные, беспристрастные, умнейшие, невзирая на лица.

Активный, сильный характер. Никакого брюзжания: «Вот в наше время, вот мы, вот я когда-то...» Она живет в этом сегодняшнем времени достаточно активно для своего возраста и положения. Она всегда живет в том времени, которое на дворе. И еще в своем времени. Одномоментно. Приказывает называть себя по имени без отчества — Саломея.

А каково ее положение? Пенсионерка без средств, хотя много ценных вещей и книг, живет в доме, который некогда купил у ее мужа друг семьи, разрешив ей оставаться в нем до конца дней.

Какою была она в шестнадцатом году, накануне революции, дочь грузинского князя Андроникова и внучатая племянница поэта Плещеева?

Двадцативосьмилетняя красавица возникает в строках мандельштамовского цикла:

СОЛОМИНКА

I

Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью,— что может быть печальней,—
На веки чуткие спустился потолок,

Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей.

В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их — такая тишина,
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.

Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате, над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.

Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не соломинка, Лигейя, умиранье,—
Я научился вам, блаженные слова.

— Да, правда, у меня была божественной красоты спальня с видом на Неву, она выглядела, как ледяной замок, и Мандельштам обомлел, заглянув в нее. Все разговоры о его любви ко мне сильно преувеличены. Это была одна огромная компания поэтов, художников, прекрасных дам, все были влюблены, все переживали эпоху. Я никогда не замечала особенной любви со стороны Мандельштама. Стихи, обратите внимание, тоже не о любви говорят, а о том, какою он видит меня, и вообще о спальне.

Саломея не терпит неправды, сочинительства ради красного словца, фальши, неискренности.

— Разговоры о моей былой красоте тоже сильно преувеличены. Я никогда не была красавицей. Фигура была, правда, хорошая, а лицо как лицо, глазки маленькие, тонкие губы, хотя, впрочем, ничего была, успех имела. Читайте дальше.

II

Я научился вам, блаженные слова:
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.
В огромной комнате тяжелая Нева,
И голубая кровь струится из гранита.

— Это он о моем княжеском происхождении. Он тогда переживал свое, не княжеское. Дальше читайте.

Декабрь торжественный сияет над Невой.
Двенадцать месяцев поют о смертном часе.
Нет, не соломинка в торжественном атласе
Вкушает медленный томительный покой.

В моей крови живет декабрьская Лигейя,
Чья в саркофаге спит блаженная любовь.
А та, соломинка, быть может Саломея,
Убита жалостью и не вернется вновь.

— Поэт,— вздыхает Саломея Николаевна,— воображение. Стихотворение пустенькое, но в нем божественная музыка. Мне многие посвящали стихи, но я в них себя никогда не узнавала — все вокруг да около своих ощущений, чувств. И портреты мои многие писали — вот тут порой узнавала себя. Петров-Водкин писал, Сомов, Соколов, Шухаев, Сорин, Григорьев, и потом в Париже французы, англичане, Рози Браун, американская скульпторша, приезжала, лепила бюст. Руки мои, ноги рисовали отдельно — словом, всю воспели.

На столике под стеклянным колпаком слепок руки — тонкой, изящной кисти, той самой, что подает мне готовый шашлык:

— Пробуйте. Вкусно? То-то. Лучше меня никто не приготовит. Я ведь даже кулинарную книгу написала. В сороковых годах издала.

Она в начале века дружила с Анной Ахматовой...

— Да нет, не дружила. Была знакома, встречались, нравились друг другу, разговаривали, спорили, смеялись, а потом разлетелись на целую жизнь. Но не забывали друг о друге.

Саломея Николаевна Андроникова и Лариса Васильева. Лондон. 1976 год.



Не забывали... В 1940 году Анна Ахматова напишет стихотворение «Тень» с эпиграфом из мандельштамовской «Соломинки». В трудном году своей жизни она вдруг вспомнит Саломею:

Всегда нарядней всех, всех розовей и выше,
Зачем всплываешь ты со дна погибших лет
И память хищная передо мной колышет
Прозрачный профиль твой за стеклами карет?
Как спорили тогда — ты ангел или птица!
Соломинкой тебя назвал поэт.
Равно на всех сквозь черные ресницы
Дарьяльских глаз струился нежный свет.
О тень! Прости меня, но ясная погода,
Флобер, бессонница и поздняя сирень
Тебя — красавицу тринадцатого года —
И твой безоблачный и равнодушный день
Напомнили... А мне такого рода
Воспоминанья не к лицу. О тень!

— Я встретилась с Ахматовой спустя годы, когда она приехала в Оксфорд на торжества в ее честь. Она пришла ко мне, сидела вот на этом же месте, где вы сидите, и у нас обеих было ощущение, что годы не прошли, что мы расстались лишь вчера и завтра встретимся снова. Оставила автограф «Тени», признавшись, что посвятила стихотворение мне.

В Москве в ЦГАЛИ в архиве Марины Цветаевой хранятся сто двадцать четыре письма Цветаевой к Саломее. Более десятилетия охватывают эти письма. Последнее отправлено незадолго до возвращения Цветаевой на Родину.

— Саломея, я прихожу к вам не потому, что вы дружили с Ахматовой, Цветаевой. Я прихожу дружить с вами.

— Понятно. Но зачем вам нужно публиковать отрывок из Марининого письма ко мне, где она меня восхваляет?

— Во-первых, она не восхваляет. Во-вторых, хочу опубликовать потому, что письмо прекрасное — целая поэма, и к тому же оно имеет отношение к вам, и только к вам. Пусть наши читатели еще раз услышат о легендарной Саломее.

— Да уж легендарной! Читайте письмо, пусть услышат. Я тщеславна.

* * *

«Дорогая Саломея, видела Вас нынче во сне с такой любовью и такой тоской, с таким безумием любви и тоски, что первая мысль, проснувшись: где же я была все эти годы, раз так могла ее любить (раз, очевидно, так любила), и первое дело, проснувшись — сказать Вам это: и последний сон ночи (снилось под утро) и первую мысль утра.

С Вами было много других. Вы были больны, но на ногах и очень красивы (до раствы, до умилительности), освещение сумеречное, все слегка пригашено, чтобы моей тоске (ибо любовь — тоска) одной гореть.

Я все спрашивала, *когда* я к Вам приду — без всех этих — мне хотелось рухнуть в Вас, как с горы в пропасть, а что там делается с душою — не знаю, но знаю, что *она* того хочет, ибо тело — самосохранение. Это была прогулка, даже променада — некий обряд — Вы были окружены (мы были разъединены) какими-то подругами (почти греческий хор) — наперсницами, лиц которых не помню, да и не видела, это был Ваш фон, хор,— но который мне мешал. Но с Вами, совсем близко, у ног была еще собака — та серая, которая умерла. Еще помню, что Вы превышали всех на голову, что подруги, охранявшие и скрывавшие — скрыть не могли. (У меня чувство, что я видела во сне вашу душу. Вы были в белом,

просторном, ниспадавшем, струящемся, в платье, непрерывно создаваемом Вашим телом: телом Вашей души)...

Куда со всем этим? К Вам, ибо никогда не поверю, что во сне ошибаются, что сон ошибается, что я во сне могу ошибиться. (Везде — кроме). Порукой — моя предшествующая сну запись: — Мой любимый вид общения — сон. Сон — это я на полной свободе (неизбежности), тот воздух, который мне необходим, чтобы дышать. Моя погода, мое освещение, мой час суток, мое время года, моя широта и долгота. Только в нем я — я. Остальное — случайность.

* * *

Милая Саломея, если бы я сейчас была у Вас — с Вами — но договаривать бесполезно: Вы меня во сне так не видели, поэтому Вы, эта, меня ту (еще ту!) навряд ли поймете. А та — понимала, и если сразу не отвечала, когда и где, если что-то еще длила и отдаляла,— то с такой всепроникающей нежностью, что я не отдала бы ее ни за одно когда и ГДЕ.

* * *

Саломея, у меня озноб вдоль хребта, вникните: наперсницы, греческий хор, обряд ложно-классической променады, мое ночное виденье Вас — точное видение Вас О. М — ма. Значит, прежде всего, поэт во мне Вас такой сновидел, значит — правда, значит Вы та и есть, значит та — Вы и есть. Не могут же ошибиться двое: один во сне, другой наяву.

(Двух поэтов, как вообще поэтов (множественного) нет, есть один: он все тот же).

* * *

Мне сегодня дали прочесть в газете статью А. о стихах, где он говорит, что я (М. Ц.) хотя и хорошо пишу, но — ничей путь. Саломея! Он совершенно прав, только это для меня не упрек, а высшая похвала, т. е. правда обо мне, о правде поэтов сказавшей: «Правда поэта — троица, зарастающая по следам». Так и моя (сонная, данная) правда о Вас, правда меня к Вам, когда-нибудь зарастет, но я нарочно не иду, стою посереди своего сна как посереди леса, спиной ощущая, что та — Вы (ты — Вы!) еще там (здесь).

Саломея, Вы сухи, Вы сплошная сушь (кактус!) и моя сушь по сравнению с Вашей — подводная яма. Я никогда, ни разу за все семь лет не видела Вас что-нибудь до самозабвения любящей, но раз я Вас, именно Вас... без всякого внешнего повода, о Вас не думая и даже — забыв — Вас такой видела, та Вы есть, другая Вы — есть. Иначе вся я, с моими стихами и снами ничего не стою, вся — мимо.

Кончаю в грозу, под такие же удары грома, как внутри, под встречные удары грома и сердца, сердца и грома, под такие же молнии, как молния моего прозрения — Вас: себя к Вам...

Саломея, электричество погасло, чтобы одни молнии! пишу в грозовой темноте — итак: Вы меня в моем сне вовсе не любили. Вы просто ходили зачарованная моей любовью, Вы ходили, чтобы я на Вас смотрела. Вы просто красовались, но не тем кобылицыным красованием красавиц, а красотою любимого и невозможного существа.

* * *

Милая Саломея, письмо не кончается, оно единственное, первое и последнее от меня (во всем охвате вещи) к Вам (во всем охвате Вашем, который знаете только Вы). И даже когда кончится — как нынешний сон и, сейчас, гроза,— внутри не кончится — долго. Я все буду ходить и говорить Вам — все то же бесполезное, беспоследственное, беспомощное, божественное слово.

Милая Саломея, лучше не отвечайте. Что на это можно ответить? Ведь это не вопрос, не просьба — просто лоскут неба любви. Даю Вам его — в ответ на все, целое, которое в том (уже — том!) сне дали мне Вы.

* * *

Знаю еще одно, что при следующей встрече — через день или через год — или: через год и день (срок для найденной вещи и запретный срок всем сказан!) — на людях, одна, где и когда бы я с Вами ни встретилась, я буду (внутри себя) глядеть на Вас иначе, чем все эти семь лет глядела, может быть, вовсе потуплю глаза — от невозможности скрыть — от безнадежности сказать.

Марина».

* * *

«Да, да, да,— думаешь, глядя на Саломею Николаевну,— Муза, вот вы кто, как умеете разбудить воображение, как умеете разжечь его. До сих пор. При чем тут годы, возраст, седины, морщины».

— Хватит, вернемся на землю,— слышу я насмешливый голос Саломеи.— Вы, кажется, собирались записывать мои воспоминания? Что ж не записываете? Но не надейтесь, что я буду вам врать с три короба и пересказывать разные сказки.

— Я не надеюсь. Мне интересны в этих воспоминаниях не те знаменитые или неизвестные люди, с которыми вы встречались, а вы сами, ваша жизнь.

— Почему?

— В вашей жизни черты Времени...

Мы усаживаемся в ее гостиной с балконом, выходящим в сад, полный роз. Этот сад принадлежит многим жильцам, и у Саломеи всего лишь крохотный кусочек земли вокруг балконной двери, но ее розы в саду самые красивые.

— Правда, самые красивые? Это не грубая лесть? Хорошо, если даже грубая, приятно слышать такое.

Саломея для меня — живая страница прошлого, навсегда ушедшего от нас. Ее жизнь — типичный путь эмигрантки. И нетипичный. Она была и осталась благополучной аристократической дамой, хотя теснилась в рамках своего аристократизма, а главное, ее сердце, где бы она ни жила — в Париже, Лондоне, Нью-Йорке,— всегда принадлежало родине, ее взор был обращен туда, куда ей никогда не суждено было вернуться.

— Это такая трагедия — потерять Россию. (Она единственный раз применила к себе слово «трагедия», привыкшая ощущать себя удачливой и сильной.) Нет, вы не уговорите меня слетать туда туристкой. Знаю, знаю — встретите, обласкаете, не в вас дело. Я как подумаю, что утром проснусь в Петрограде... Ленинграде и вокруг русская речь,— у меня уже здесь сердце разрывается. А что там будет? Умру от счастья. А ведь я не хочу умирать.

Не понимаю, зачем вам история моей жизни? Люди, правда, вокруг преинтереснейшие были и время, да, да, время какое!

Я не рассказывала вам историю моего первого брака? Этот человек был нечто невообразимое. Представьте, мне восемнадцать лет, папа был городским головой в Баку и имел много дел в Петербурге. В одну из поездок он взял маму, а та захватила меня с собой.

Папа снял квартиру на Мойке, у нас стали появляться гости, и среди них некто Веденеева, мамина подруга по Кавказу. Она часто рассказывала о своем племяннике, Павлике Андрееве,— он был на восемнадцать лет старше меня.

Веденеева привела его, мы сидели, разговаривали, он остался обедать, после обеда говорит: «У меня сегодня заказана ложа в опере». Я и рада. Поехали с мамой, вернулись уже поздно, а он не уходит, гуляем мы с ним у дома нашего, разговариваем, он рассказывает мне о том, что его жена, она же его двоюродная сестра, тяжело больна туберкулезом, находится на лечении в Сан-Ремо, что он одинок и всякие такие штучки.

Назавтра он снова является, а через три дня признается мне в любви, излагает свои пуританские взгляды: он, дескать, однолюб, жене никогда не изменял, у них четверо детей, общение с женщинами легкого поведения презирает и считает безнравственной близость с нелюбимым человеком. Хорошо. Я слушаю. В последние годы жена все время болела, и он от одиночества полюбил ее сестру, признался сестре, она ему ответила взаимностью, но как просить развода у умирающей женщины? Невозможно. Он убедил сестру сойтись с ним тайно, без брака, она родила ребенка и умерла. Вскоре после ее смерти мы с ним и встретились.

Я уже сказала, что на третий день знакомства он объяснился со мною и спросил, не противен ли он мне. Я ответила, что нисколько, он был любопытен.

Мои поклонники были интеллигенты или офицеры, очень молодые, а этот уже солидный страдалец, да к тому же не нашего круга — он был крупный чаевладелец. Поставил вопрос ребром: я, мол, связанный человек, но если жена моя умрет, соглашусь ли я выйти за него.

— Конечно!— Мне казалось, что это будет когда-то, не скоро, пусть живет бедная женщина. Через два дня после разговора она умерла. И меня прижали к стенке. Он очень быстро это все делал.

Мои родители забеспокоились — неудобно, нужно подождать, выждать приличный срок после смерти жены, сделать публикацию о помолвке, иначе священник не будет венчать. Он знать ничего не хотел — найду попа, который обвенчает, и все тут. Натиск был таков, что через две недели со дня знакомства я была обвенчана.

Прошли осень, зима, весна, наступило лето, мы всей семьей поехали в его имение Скреблово, неподалеку от Луги. Место чудесное, большой дом. А в парке маленький домик с террасой и кухней. Я его облюбовала для себя и поселилась там, отдельно. Лето шло весело, приехал к нам туда молодой вдовец, сын все той же Веденеевой, здесь же была моя двоюродная сестра Тинатин, за стол садилось двадцать человек — дети Павлика, мои и его родственники — уйма народу.

У меня начались роды. Я укрылась в своем домике с акушеркой, а тем временем мой муж, беседуя с Веденеевым, советовал ему жениться на моей сестре Тинатин. И в ту минуту, как он дал совет, почувствовал, что сам ее любит, замял разговор, пошел в парк, нашел Тинатин, сказал, что любит и надеется на ответное чувство.

Сестра была мне очень близка, она потом говорила, что у нее от ужаса голова разболелась, до вечера она старалась не показываться ему на глаза, утром проснулась и подумала, что ей весь этот кошмар приснился. Она спустилась к завтраку — сидят двадцать человек, муж мой не обращает на нее никакого внимания, она думает, слава богу, приснилось. Ан нет, после завтрака получает от него письмо из комнаты в комнату, где он сообщает ей, что ситуация сложная и он дает ей несколько дней на раздумье.

Я в это время прихожу в себя, меня уже вывозят в парк на коляске, меня все навещают, Павел Семенович приходит тоже, но как-то странно — никогда один, все с кем-нибудь. В глазах его слезы, он вообще был очень слезлив. Через несколько дней после моих родов он говорит, чтобы я оставалась с ребенком до конца августа, а его дела призывают в Петербург. Ребенка он не пожелал посмотреть.

В конце августа мы всей семьей переезжаем в Петербург. Я Павлика почти не вижу, а жена его управляющего мне говорит:

— Вам не кажется, что с Павлом Семеновичем что-то неладно? Не влюблен ли он?

Смеюсь. Как можно, он ведь убедил меня, что любит меня одну, а он однолюб.

Моя подруга грузинка тоже туда же:

— Павлик не в себе. Ты не думаешь, что он влюблен?

— Нет.

— Напрасно ты так не думаешь. Он действительно влюблен в Тинатин.

Я расхохоталась, а потом задумалась и написала ему письмо: «Нахожу, что ты какой-то странный, и все вокруг находят, может быть, ты разорился, заболел, наконец, может быть, что-то случилось с твоими чувствами ко мне?» Посылаю письмо ему в контору. Он откликается: еду! И начинается ужасная жизнь. Оба мы плачем, страдаем, он объясняет, что больше меня не любит, а любит Тинатин, та отвергает его только потому, что жалеет меня, а значит, приносит себя в жертву. Я к Тинатин за объяснениями. Она, в свою очередь, заливается слезами, целует мне руки, уверяет, что нисколько не любит Павла Семеновича. Я опять к нему, а он убеждает меня, что Тинатин все-таки любит его, и уговаривает меня передать ей его очередное письмо с объяснениями. Ненормально. Я отказываюсь. Все трое несчастны.

К январю я превращаюсь в щепку. В то время приходит из Грузии Павлу Семеновичу письмо от матери Тинатин, которой та все написала. Тетка моя женщина решительная, она в письме резко осудила моего мужа. Он кинулся объясняться к Тинатин, вышел крупный разговор. Он приходит ко мне и говорит:

— Я понял, что я не люблю больше Тинатин, теперь ты у меня одна, будем жить дальше, влачить существование.

Хорошо, я на все согласна, предлагаю ему посмотреть на дочку, которую он еще не видел. Он решительно отказывается, говорит, что боится полюбить ее, привязаться, я, в свою очередь, отказываюсь его понять, но смиряюсь.

Летом мы снова в Скреблове, там опять много родственников. Однажды я сижу на теннисе, смотрю и вижу — с моим Павлом Семеновичем опять неладно. Зову его к себе в домик:

— В чем дело? В кого?

— Люблю,— говорит,— твою уже теперь родную сестру, Машеньку.

Что мне делать? Советую ему объясниться с Машенькой. Та не Тинатин, она до смерти меня любит, и потом, у нее есть жених, она в нем души не чает. Машенька гонит его от себя, но и я уже больше не могу терпеть и ждать, кто будет следующей. Объявляю ему, что решила разойтись. Он согласен.

Осенью он снял для меня прекрасную квартиру в Петербурге, я закрыла ее и уехала в Париж, чтобы как-то прийти в себя, отвлечься, а в квартире остались моя мама, маленькая дочка, кормилица и сестра Машенька. Перед моим отъездом он опять является ко мне, опять слезы, он меня любит, просит «влачить». Плачу, таю, говорю — будем.

Накануне моего отъезда пришел ко мне один знакомый, русский немец Гросс, и повел в «Бродячую собаку», где познакомил со своей невестой. Ее звали Додо. Хорошее такое, русское, милое лицо. Очень она мне понравилась. Я рассказала о ней Павлу Семеновичу, когда он меня провожал, и мы опять сговорились уже окончательно, что будем «влачить». Письма его в Париж были милые, дружеские, между прочим написал он мне, что Гросс привел к нему Додо. И вскоре письмо, что он полюбил Додо, она дает отставку Гроссу и начинает жить с ним.

Я возвращаюсь из Парижа, Додо живет с ним, моя новая квартира на од-



Н. Е. СВЕРЧКОВ. *ПОЖАР В СТЕПИ.*



ОХОТНИК, СБИВШИЙСЯ С ПУТИ В МЕТЕЛЬ. 1875.

ной улице с его квартирой, и он каждый день пишет мне письма с какими-то нелепыми объяснениями. То пишет, что не хочет видеть дочку — он ее так ни разу и не увидел. «Чудно,— отвечаю,— не хочешь, не надо». То просит развода.

В это время мой папа был в Петербурге, узнав все, он порекомендовал мне взять адвоката, его друга Луарсаба Андроникова, нашего однофамильца, отца Ираклия. Я решилась, написала мужу. Он прислал резкий ответ: зачем, мол, от меня защищаться. Я опять ложусь в постель, реву, зову Луарсаба, показываю письмо, тот, Дон Кихот по характеру, говорит, что письмо оскорбительно для меня и для него, Луарсаба. И вызывает Павла Семеновича на дуэль. Но тот драться не захотел, он просто извинился перед Луарсабом. С этой поры я никогда больше не виделась со своим мужем. У меня был друг, пианист Боровский, он учился в консерватории вместе с Прокофьевым, и однажды он дал концерт в доме моей матери, куда пришли я, Машенька, Тинатин и Додо. И все четверо чувствовали себя великолепно, никакой Павел Семенович между нами не стоял. Каким он был внешне? Очень крупный, русский, по-своему красивый, хмурый несколько. Дочери своей, Ирины, он так и не увидел. Потом он оставил Додо, полюбив другую, по той же старой схеме. До шестьдесят шестого года я ничего о нем не знала, а в шестьдесят шестом приехал в Лондон Жирмунский и рассказал мне, что в первые годы после революции он встречал Андреева, тот жил в Скреблове у крестьян, и никакой женщины с ним не было. Тогда же он говорил Жирмунскому:

— Не понимаю, что вы все находите в Саломее? Я ничего не нахожу.

Получив развод, я уехала в Париж, где встретила поэта Сергея Рафаловича, и семь лет мы прожили с ним как муж и жена, правда, на европейский лад: я больше в Петербурге, он больше в Париже. Очень удобно, ненадоедливо.

Я подружилась с поэтами. Мы постоянно собирались, спорили, пили, читали стихи. Ходили из дома в дом. Помню Ахматову, Шилейко, Анну Радлову, Палладу. Помню, Мандельштам читал стихи про меня, и там были строки: «Я запечатаю на много поколений твой маленький багрянородный рот». Шилейко говорит: «Непонятно, «род» или «рот»?» Мандельштам страшно обиделся, но строчки эти убрал. Повторяю, я никогда не думала, что он был влюблен в меня, это Ахматова так считала. Мы были веселые молодые люди, никому в ум не приходило, что Ахматова будет АХМАТОВА. Смеялись, дурачились. Ахматова подарила мне «Четки» с надписью: «В надежде на дружбу».

В шестнадцатом году я влюбилась в художника Николая Радлова и послала в Париж телеграмму Рафаловичу: «Я тебе изменила». Тогда мы были очень романтичны, честны и испытывали необходимость сообщать своим любимым правду сию же минуту. А была война. Мой дядя Ваня работал в цензуре, и подруга радловской жены тоже там работала. Все вокруг узнали. Рафалович приехал, начались сердечные мучения, это уже в семнадцатом, тут и февральская революция, и мои страдания. На лето Рафалович увез меня с дочкой в Крым, под Алушту, и я больше никогда не видела Николая Радлова.

Жили мы в Крыму, собирались в сентябре вернуться в Петроград. Революцию я приняла восторженно, хотя политикой не занималась, ждала от нее многого. У меня был знакомый, влюбленный в меня адвокат Гальперн Александр Яковлевич, еврей, интеллигент. Так вот, Гальперн каждый день писал мне в Крым письма, умоляя не приезжать в голодный Петербург, переждать в Крыму. Пережидали. Билеты в Петроград были взяты на четвертое сентября, но, по совету того же Гальперна, я решила отвезти дочку на Кавказ, оставить ее у мамы и одной вернуться в свой революционный город.

«Если вы такая сумасшедшая, можете ехать голодать, но ребенка завезите матери»,— писал Гальперн.

Так я, Рафалович, дочка моя, горничная и бонна отправились в сентябре в Баку. Я никогда больше не увидела Петрограда.

Кстати, в Баку мне из Крыма переслали письма, которые Гальперн продолжал посылать. Среди них была телеграмма, датированная двадцать четвертым октября тысяча девятьсот семнадцатого года:

«Можете возвращаться. В столице спокойно... Временное правительство укрепилось».

На следующий день мой Гальперн сидел под арестом у большевиков. А я, уже в эмиграции, когда вышла замуж за Гальперна — его выпустили и дали возможность уехать за границу,— имела повод смеяться над ним:

— Хорошо осведомленное правительство! Я считала и считаю, что они получили то, чего заслуживали.

Из Баку я переехала в Грузию, где встретила человека, который уговорил меня прокатиться с ним вместе в Париж, как говорится, за шляпкой. Время было непонятное, какое-то бешеное. Я была раздерганная, ничего не могла объяснить вокруг, как всякая обыкновенная ординарная аристократка, не хотела ни о чем глубоко задумываться и покатила. И вот я здесь. Потом уже, через Константинополь, ко мне переправили мою дочку. Мама, отец, сестра Машенька остались дома. Я несколько раз пыталась вернуться, но Гальперн, который стал моим мужем, и слышать не хотел. Началась эмигрантская жизнь, которая, конечно, тоже жизнь, не смерть же, но главное осталось там, в России, и я прожила с ощущением, что живу без главного. Да, да.

Эмигрантская моя жизнь освещена Цветаевой, встречами с нею. Я сразу полюбила ее. Надо сказать, ее мало кто любил. Она как-то раздражала людей, даже доброжелательных. Мы познакомились в начале двадцатых годов. Она жила в Праге, Берлине, потом переехала в Париж. Я жила со своей подругой Ашеней Меликовой в Париже в меблированных комнатах, рядом — семья художника Василия Шухаева, кстати, мой портрет его работы сейчас находится в музее в Генте: я — в черной с золотом юбке, и верх бархатный. Красиво.

Цветаева была умна, очень умна, бесконечно. Фигура прекрасная, тоненькая, плечи широкие, лицо скорее красивое, но странно, она производила впечатление некрасивой, была какая-то бежевая. Говорила очень хорошо, живо, масса юмора, много смеялась. Умела отчеканить фразу. Не понимаю, как она могла не нравиться людям. А так было. Эмигрантские круги ненавидели ее независимость, неотрицательное отношение к революции и любовь к России. То, что она не отказывалась ни от России, ни от революции, бесило их.

Я тоже ни от чего не отказывалась, но я была материально независима от них, а для Марины были закрыты журналы и газеты, ей намеренно не давали заработать копейку. Никогда я не видела такой бедности, в какую попала Цветаева. Я же поступила работать к Вожелю в модный журнал, прилично зарабатывала, получала тысячу франков в месяц и могла давать Марине двести франков. Но этого было мало. Тогда я обложила Нюту Калину — подругу Марины по гимназии, она давала сто, моя подруга Ашеня — сто, и Мишель де Брюнов, директор журнала, где я работала, давал сто. Он понятия не имел, кто такая Цветаева, но он делал то, что я хотела.

Вот письма Марины ко мне. Я сделала фотостаты перед отправкой подлинников в Москву. Я вообще считаю, что все истинные ценности должны вернуться на родину. Там их место. Почитаю вам выдержки из писем. Вы знаете, наверно, что дочь Марины, Ариадна Сергеевна, умирая, оставила завещание, которым закрыла архив Цветаевой на двадцать лет *. Не будем обсуждать это решение. Мои письма в архиве. Я спокойна, пусть лежат. А я почитаю вам из фотостатов то, что касается меня. Как адресат имею право. Я тщеславна. Вот, например, из письма от двадцать второго марта двадцать седьмого года.

* * *

«Милая Саломея, хотите разгадку полутрагедии, Вашей и моей? Вас всегда будут любить слабые, по естественному закону тяготения сильных — к слабым и слабых — к сильным... Сила — к силе — редчайшее чудо, на него рассчитывать нельзя. Слабость, то есть чутье, многообразие, созерцательность и — невозможность действия. Слабость, как условность, конечно, слабость,— как, может быть, сила в других мирах, но в этом, любимом Вами и нелюбимом мною, конечно — слабость: неумение (нехотение?) жить. В нас любят жизнь. Даже во мне.

А полутрагедия — потому что любовь — мно-ого!— полжизни, о, гораздо, неизмеримо меньше. Целую Вас и очень люблю «МЦ».

Саломея Николаевна перебирает фотостаты цветаевских писем, читает их медленно.

— Мне приходилось распространять билеты на ее вечера. Иногда их покупали русские, иногда французы, знакомые, которые, конечно же, не ходили на вечер, языка не знали, но покупали, чтобы поддержать. Вот видите, она пишет:

«Дорогая Саломея, сгораю от самой черной зависти, но у нас тоже весна,— обскакавшая себя на месяц! Погода трогательна донельзя, уже не видится, а идти некуда, потому что парк знаю наизусть, а в лесу хулиганы... Огромное спасибо за чудо десяти билетов, мною пока продано три. Остальные (адресаты) молчат...»

Это письмо из Медона от двадцать пятого февраля двадцать восьмого года. А что касается вечеров Марины, то я распространяла билеты и сама всегда бывала на них. Народу приходило мало. Нельзя сказать, чтобы совсем пусто было, но пустовато. Вот смотрите, в этом же письме какие строки:

«...Пишу русскую вещь, начатую еще в России. Хорошая вещь. Замечаю, что весь русский словарь во мне, что источник его — я, т. е. изнутри бьет...»

Понимаете, я не могу сказать, что я ее любила, я любила поэта Цветаеву, очень ценила. Вокруг меня никто не хотел с нею встречаться. Никто ее не принимал, а для меня она была Марина Цветаева — неповторимое явление.

Вы уверены, что вас интересуют в Марининых письмах высказывания обо мне, о жизни и литературе, а не факты быта?

— Уверена,— отвечаю я, ибо с ненавистью отношусь к привычке печатать письма значительных людей мира и обсуждать интимные, личные проблемы. Разве эти люди давали такое право? Что сказал бы нам Пушкин, увидев распечатанные в миллионах экземпляров его письма к жене? Он принял смерть за честь ее, а кого бы пришлось ему вызывать на дуэль сегодня?

— Хотите строки из письма от шестнадцатого сентября тридцать первого года? Послано из Медона в Париж:

«Дорогая Саломея,

Прежде всего — в ответ на Ваше «и совсем не чувствую себя счастливой» — На свете счастья нет, но есть покой и воля — воля, которую я, кстати, всегда понимала, как волю волевую, а не как волю — свободную, как, нужно думать, понимал сам Пушкин,— и которой тоже нет.

Во-вторых: милая Саломея, ну и зверски же вы молоды и зверски не счастливы, чтобы этот *порядок* вещей: совсем не чувствовать себя счастливым — чувствовать *непорядком* вещей!

Очень Вас люблю и — что, если не гораздо больше, то (у меня) гораздо реже: Вы мне бесконечно нравитесь. (Лестно на шестом году знакомства?)

Но — в чем дело с не-совсем-счастливым или совсем-не-счастливостью?..»

— Какова была?— Саломея усмехается.— В начале меня отчитала, а в конце волнуется. Право, я сейчас и не помню, в чем было дело, скорее всего, я ей свой сплин показала. А-а-а, вот еще интересные строки, это письмо из Сент-Жиль от двадцать пятого июня двадцать шестого года:

«Дорогая Саломея,

Вчера на берегу я писала Вам мысленно письмо, стройное, складное, как все, не прерванное пером. Вот отрывки:

Умиляюсь и удивляюсь Вашему нетерпению. Мне с моей установкой на Царство Небесное (там — потом когда-нибудь) оно дико и мило. Торопить венец (здесь) — торопить конец. (Что любовь — что елка!) Я, когда люблю человека, беру его с собой всюду, не расстаюсь с ним в себе, *усваиваю*, постепенно превращаю его в воздух, которым дышу и в котором дышу,— и всюду и в нигде. Я совсем не умею вместе, ни разу не удавалось. Умела бы,— если бы можно было нигде не жить, все время ехать, просто не жить. Мне, Саломея, мешают люди, № домов, часы, показывающие 10 или 12 (иногда они сходят с ума, тогда хорошо), мне мешает собственная дикая ограниченность, с которой сталкиваюсь — нет, наново знакомлюсь — когда начинаю (пытаться) жить. Когда я без человека, он во мне умней — и цельней. Жизненные и житейские подробности, вся жизненная дробь (жить — дробить) мне в любви непереносны, мне стыдно за нее, точно я позвала человека в неубранную комнату, которую он считает моей. Знаете, где и как хорошо? В новых местах, на молу, на мосту, ближе к *нигде*, в часы, граничащие с никоторыми. (Есть такие).

Я не выношу любовного напряжения, у меня — чудовищного, этого чистейшего превращения в собственное ухо, наставленное на другого: хорошо ли ему со мной? Со мной уже перестает звучать и значить, одно — *ли ему*?

Бывают взрывы и срывы. Тогда я очень несчастна, не знаю, чего хочу, всякого «вместе» мало: умереть! Поймите меня: вся моя жизнь отрицанье ее, собственная из нее изъятость. Я в ней отсутствую. Любить — усиленно присутствовать, до крайности воплощаться здесь. Каково мне с этим неверием, с этим презреньем к здесь?..

(Имейте в виду, что все это я говорю сейчас, никого не любя, давно никого не любив, не ждав, в полном *холоде силы и воли*. Знаю и другую песенку, ВСЮ другую!)

Почему я не в Лондоне? Вам было бы *много* — легче, а мне с Вами по-новому хорошо. Мы бы ходили с Вами по каким-нибудь нищим местам — моим любимым; чем хуже, тем лучше, стояли бы на мостах... (Места — мосты). Приезжайте ко мне из Парижа! Ведь это недолго! Приезжайте хотя бы на день, на долгую ночную прогулку — у океана, которого не любите ни Вы, ни я — или можно на дюнах, если не боитесь колючек. Привлечь, кроме себя, мне Вас здесь нечем.

О Вас. Думаю — не срывайтесь с места. *Достойнее*. Только с *очень* большим человеком можно быть самим собой, целым собой, всем собой. Не забывайте, что другому нужно меньше, потому что он *слаб*. Люди боятся разбега: не устоять. Самое большое (мое) горе в любви — не мочь дать столько, сколько хочу. Не обороняется только сила. Слабость отлично вооружена и, заставляя силу *умеряться*, быть не собой, блестяще побеждает...»

* По воле Ариадны Сергеевны Эфрон часть архива закрыта до начала следующего века.— **Прим. редакции.**

«...Пустилась, как в плаванье, в большую поэму. Неожиданность островов и подводных течений. Есть и рифы. Но есть и маяки. (Все это не метафора, а точная передача). Кроме поэмы жизнь дня, с главным событием — купаньем, почти насильственным, потому что от разыгрывающегося воображения сразу задыхаюсь. О будущем ничего не знаю...»

— А вот интересное письмо из Медона от тридцать первого мая тридцать первого года. Тут много подробностей об одном из ее вечеров. Видите, она пишет:

«Вечер прошел с полным успехом, зала почти полная. Слушали отлично, смеялись, где нужно, и насколько легче (душевно!) читать прозу. 2-е отделение были стихи... Читала я в красном до полу платье вдовы Извольского и очевидно ждавшем меня в сундуке 50 лет. Говорят — очень красивом. Красном — во всяком случае. По-моему, я цветом была — флаг, а станом — древком от флага».

— А это письмо тридцать третьего года, шестнадцатого апреля. Марина пишет:

«...Вы ушли в новую жизнь, вышагнули (как из лодки) из старой — (м. б. с берега в воду — это неважно, из чего-то — во что-то) и естественно не хотите ничего из старой, а я из старой, со старого порога. Это проще простого, и я это глубоко понимаю — и, больше,— Вам глубоко сочувствую: я сама бы так. И только так и можно...»

Саломея долго вспоминает:

— Это, наверно, я встретила ее как-то не так, не под настроение она мне попала. А чуткость и прозорливость там были, сами знаете, космические. И смелость, и откровенность, умение видеть жизнь, как она есть. Посмотрите, что она о себе пишет шестого апреля тридцать четвертого года:

«...А я очень постарела, милая Саломея, почти вся голова седая, вроде Веры Муромцевой (это жена Бунина, объясняет Саломея), на которую, кстати, я лицом похожа,— и морда зеленая; в цвет глаз, никакого отличия,— и вообще — тьфу в зеркало, но этим я совершенно не огорчаюсь, я и двадцати лет с золотыми волосами и чудным румянцем мало нравилась, а когда (волосами и румянцем: атрибутами) нравилась — обижалась, и даже оскорблялась, и даже, ругалась.

Просто — смотрю и вижу (даже мало смотрю!)...»

— Да-да, смотрю и вижу. Вижу я последнее наше с Мариной свиданье — вот что отлично помню, мы встретились в переполненном кафе на бульваре Сен-Жермен в Париже, сидели втроем с ее сыном Муром. Она говорила: «Я еду!» Она не могла больше существовать без России и хотела сыну дать родину. Помню ее сына маленьким. Однажды Марина мне рассказала, что он спросил ее: «Почему мы сегодня не пойдем к Саломее на обед?» — «Обеда не будет. У нее заболела кухарка».— «Пусть она приготовит сама».— «Она не умеет».— «Пусть научится».

И знаете, я правда, когда стало необходимо, научилась. Теперь вот видите — вкусно. Всю жизнь думала, что я муза, а под старость поняла — кухарка.

Саломея Николаевна готовит и подает еду с мастерством и блеском профессионала. Радуется похвале. И подкладывает на тарелку из аппетитных горшочков, кастрюлек, вазочек.

Мы расстаемся с нею, чтобы встретиться снова и вновь говорить о ее молодых годах, о людях, которых она любит так живо, словно они не покинули еще этой земли.

Эмигрантка, княжна, аристократка, человек, большую часть жизни проведший за пределами Родины, женщина, свободно владеющая четырьмя языками, литературная дама, неплохо разбирающаяся в политике, мало битое жизнью красивое создание природы, высокомерная и холодная, эта Саломея до самого последнего вздоха жила с чувством Родины в сердце. Только Родина, ее успехи и проблемы, ее победы и поражения были по-настоящему интересны, нужны и желанны ей.

Саломея — заядлая читательница.

— Принесите мне что-нибудь новенькое из советской литературы. Я жадна до нее. Вообще в последние годы ни по-французски, ни по-английски читать не хочу. Только по-русски.

— Что же вам принести?

— Самое модное.

— У нас сейчас мода на деревенскую прозу.

— Прекрасно.

И я стала приносить книги.

— Саломея, давайте слетаем в Советский Союз.

— Опять вы о том же. Не травите сердце. Вы думаете, я чего-то боялась? Мне нечего было бояться. В последние годы кто только, простите, не начал кататься на Родину. Нет, со мной другое дело. Я, видите ли, совершила глупость и оставила Родину в трудный момент. Раз тогда не вернулась, должна нести наказание разлукой до конца. Понимаете, у меня много друзей и в Москве, и в Ленинграде — я не о них говорю, а о своем состоянии, о своем моральном чувстве перед Родиной. Нет уж, досижу здесь. Поделом мне.

Саломея Николаевна, Соломочка. Она сидит в своем кресле у балконной двери, седая, нарядная, улыбающаяся. Она уже ничего не видит и не слышит, как сама утверждает, но это так, аристократическое кокетство. Она читает по утрам газету «Советская Россия» трехдневной давности и с утра до вечера думает о Родине, вспоминая, мечтая о прошлом, фантазируя о будущем. В октябре 1888 года забилось ее сердце, в мае 1982 года остановилось. Ей был отпущен на земле длинный срок. Она прожила его, как умела, и не нам судить ее, вдохновившую поэтов на стихи и протянувшую руку помощи Цветаевой.

Храню ее письма. Коротенькие записочки. Нежные слова привета. Иду на выставку у Крымской набережной, долго стою перед портретом Саломеи кисти Петрова-Водкина. Впервые увидела я этот портрет в кабинете Саломеи. Он висел за шкафом.

— Когда я сижу за письменным столом, то вижу портрет очень хорошо, и с этого места я на портрете лучше смотрюсь.

Она часто говорила мне, что после смерти отдаст все, что есть в ее доме, на Родину. Мы долго обсуждали, куда что нужно отдать. Она не хотела умирать и не спешила с оформлением завещания. Что стало с другими ее портретами, не знаю — ко времени ее кончины я жила уже в Москве.

Как же попал портрет кисти Петрова-Водкина из-за шкафа на московскую выставку? Я часто думала об этом портрете, так точно и тонко отразившем молодую Саломею. Вот если бы она просто сняла его со стены, обдула пыль и отдала мне, я отвезла бы его в Третьяковку. Но сказать ей об этом, значит, напомнить о ее возможной смерти. Не решалась я сказать. И уже живя в Москве, решилась.

Детел в Лондон прекрасный художник-реставратор Владислав Титов. Я дала ему телефон Саломеи и записку, в которой, сама не знаю как, написала: «Дорогая! У вас за шкафом пылится никому не видный прекрасный ваш портрет, сделанный Петровым-Водкиным. Снимите его, обдуйте пыль и отдайте подателю сего письма».

Титов вернулся через две недели с портретом, вернулся влюбленный в Саломею по уши. Она сняла портрет без единого слова. А в ее записке, отданной мне Титовым, было написано: «Получайте портрет. Не понимаю, почему вы сами не взяли его, когда жили здесь. Пусть он будет в Третьяковке».

Неужели она с такой же легкостью отдала бы мне все то, о чем мы с ней так долго рассуждали, куда и кому в России завещать?

КОЛЮЧЕЕ НЕБО

Окончание.
Начало на стр. 18.

ния. Словно бы и не дети сидят передо мной, а маленькие роботы в серых робах. И в самом деле, такая работа — изо дня в день, из года в год — вводит пацанов в какое-то почти идиотское оцепенение, притупляет их чувства, расхолаживает разум.

— Мне все это с самого начала не понравилось,— рассказывает мне о своей работе семнадцатилетний заключенный Саня,— а потом думаю: ну что же делать, от этого все равно никуда не убежишь. Надо работать. Тут я решил себя испытать. Сколько, интересно, думаю, можно этих катушек намотать? Сто? Тысячу? Или миллион? Дай, думаю, поставлю мировой рекорд, намотаю больше всех. Ну начал я этим делом заниматься. День проработал, неделю, месяц. А потом думаю: а на фига я стараюсь, для кого? Кому все это нужно? Мне, что ли? Ну и плюнул. Вот теперь работаю как все — не хуже, не лучше. От этой тупой работы к концу дня башка, как гнилой арбуз, гудит и чавкает, ноги ноют, спина трещит.

Попробуйте три года кряду забивать в ящики гвозди или наматывать на катушки провода — и вы согласитесь с Санькой.

И опять — в который уж раз — приходит на память макаренковская колония. Это ведь именно там, в неприспособленных, убогих мастерских, собирала беспризорная братва первые советские фотоаппараты с маркой «ФЭД», творила нужное, полезное для страны дело. Простенькие эти фотоаппаратики продавались повсюду, их знали в каждой семье, ими гордились, их берегли. А значит, и труд ребячий — в силу такой его значимости — только возвышал, но никак не оболванивал, как это происходит сейчас, когда трудовое воспитание превратилось в банальную трудовую повинность, а по сути — в наказание трудом.

...В тот день его назначили ответственным за ремонт школы. Маленький, юркий, как мышь, парнишка с самого утра носился с какими-то ведрами, кистями, известкой; красил, драил, стругал. Работал на совесть и от души. Ближе к вечеру его заметил дежурный офицер и сказал:

— Хорошо работаешь. Завтра отправишься на производство.

— Не надо. Можно здесь. Тут интереснее.

— Разговорчики,— сказал офицер и удалился. А парнишка остался, и радость умерла в его глазах.

Нет, не зря все-таки мечтали в своих сочинениях ребята об интересной, нужной людям работе. Она была для них составляющей счастья.

Пустые глаза мальчиков-роботов до сих пор стоят передо мной.

Но духовность не умерла, живет еще в мальчишечьих душах, запертых в заколюченном мире, тянется к свету и добру.

В местной библиотеке я видел испещренные записями читательские формуляры, перелистывал книжки, среди которых самые потрепанные, буквально зачитанные до дыр «Овод» Войнич и толстовский роман «Хождение по мукам».

В клубе слушал старую битловскую песню «Помогите!», которую здесь петь почему-то не разрешают, однако ее все равно поют.

В политотделе колонии читал рукописный журнал «Дружба», в который мальчишки пишут свои стихи и рассказы. Один из них я и переписал в свой блокнот. Называется он, несмотря ни на что, светло и радостно: «Летний дождь».

«Дождь начался неожиданно. Озорной, веселый, теплый. Застучали, забарабанили капли по земле, по крышам домов, словно кто русскую отплясывал. Дождь прошумел — и снова солнце. Нет, тысяча солнц. В лужах, на листве, в траве. Смотрят веселыми глазами на помолодевшую землю, улыбаются людям. И мне — тоже.

Сбежал я с крыльца босой — и прямо в лужу. Только брызги во все стороны. Не простые брызги, в каждой по солнышку. А лужа большая, теплая, манящая. Вода в ней чистая, как слезинка. Увидела меня мать, всполошилась: «Батюшки, вымокнешь, ноги застудишь». Ступила босой ногой в лужу, чтобы меня оттуда вызволить, да так и застыла. Вода-то какая... Теплая, ласковая, детством пахнет. Сто лет, поди, по лужам не ходила. Отец вышел, смеется: «Может, и мы, мать, по лужам пройдемся, а? Давай, детство вспомним?» Яркое солнце над поселком. Дождем умытое, будто новое. Радуга в полнеба. Одним концом в реку уперлась, другим над лесом повисла.

А Пушкаревы всей семьей лужи меряют. Смешно мне. Вот здорово-то! И, главное, ругать некому!»

Этот маленький рассказ написал в колонии бывший ее воспитанник Володя Пушкарев. Он был груб, нарушал режим, не раз сидел в ДИЗО...

VIII

Михаил Григорьевич Беленький в колонии человек новый. До этого три года проработал в горкоме комсомола, еще пять лет — в обкоме партии, а в детскую колонию его послали, что называется, на укрепление. Может, оттого, что военная форма еще не приросла к нему как следует — и не дай бог,— он смотрит на происходящее здесь несколько иными глазами.

— Знаете,— говорит Беленький, то и дело подливая в стакан боржоми,— я не могу смотреть на этих пацанов как на преступников. Нет, они не преступники. Ерунда! Они больные, социально больные дети. Их жалко. Знаете, меня, конечно, могут за это по шапке, но я их иногда отпускаю на волю. Ходили с ними в парк, на лодках катались, квасок дули. И, что вы думаете,— только один убежал.

— А как насчет заборов. Уберете?

— Заборы-то? — Он задумался, потом улыбнулся: — Только не сегодня, ладно?

Ладно. Пусть не сегодня. Пусть завтра или через год рухнут эти заборы.

Пусть будет так!

А пока вслушайтесь в их души.


Мирей Матье (Франция)

Адриано Челентано (Италия).

«Юрая Хип» (Великобритания) Рок-группа на Красной площади в Москве...

Демис Руссос (Греция).

ПОВЕРЯЯ АЛГЕБРОЙ ГАРМОНИЮ

Окончание. Начало на стр. 16.

платит импресарио, тем больше получает артист. Мы за процентный подход к гонорару — чем выше сумма, тем больше отчисления и артисту, и Госконцерту.

Но уже сейчас, не дожидаясь отмены устаревших бумаг, мы стараемся внедрять новые формы творческой и коммерческой работы. Нужно пересмотреть контакты с нашими зарубежными партнерами — импресарио, от которых во многом зависит, состоится ли встреча зрителей с тем или иным коллективом или солистом. Не так-то просто преодолеть существующую годами практику общения с одними и теми же импресарио. Мы не привыкли играть на конкуренции, а ведь, если мы хотим расширить наши связи, мы просто обязаны в каждой стране иметь несколько партнеров. Только тогда мы будем иметь право выбирать, у кого, за какие деньги, какой коллектив или солистов брать, активнее сможем предлагать и наших артистов. Однажды во время беседы менеджер из капиталистической страны задал мне вопрос: скажите, господин директор, вы продаете или у вас покупают? Поразмыслив, я понял, что у меня все-таки больше покупают. Дело в том, что старые партнеры, чувствуя, что у них нет конкуренции, упрямо из года в год приглашают одних и тех же, одни и те же труппы, одни и те же имена, знакомые зарубежному зрителю, боясь прогореть на «новичках». Они даже готовы сделать перерыв на два-три года, если «их» коллектив уже занят на других гастролях, не желая заполнять паузу новыми для них артистами. Нам это, конечно, невыгодно. Мы заинтересованы, чтобы наше искусство было представлено за рубежом разнообразно и не только теми, кто уже снискал признание во время предыдущих гастрольных выступлений. Да и просто по-человечески это несправедливо. Случалось даже, что в Госконцерт приходили оперные артисты и с обидой говорили: как же так, ездят все те же люди, а нас вообще не посылают в зарубежные турне... И здесь мы тоже отошли сейчас от прежних стандартов. Пригласили ведущих менеджеров разных стран мира и устроили просмотр молодых артистов оперы на сцене Большого театра и театра оперы и балета Вильнюса. В результате многих исполнителей сразу же пригласили выступить в нескольких западноевропейских странах с концертами. Таким образом, знакомство состоялось и успешно продолжается по сей день. Сейчас мы подумываем о том, чтобы приглашать наших зарубежных партнеров на последние туры всесоюзных филармонических конкурсов.

Интересной и перспективной кажется мне форма сотрудничества, найденная нами недавно: выступления молодежного интернационального симфонического оркестра, в составе которого музыканты Болгарии, ГДР, Венгрии, Чехословакии, Польши, СССР. Оркестр регулярно проводит совместные турне по всем братским странам, знакомя слушателей с молодым поколением музыкантов, с новыми произведениями. Конечно, такие встречи, творческое общение просто необходимы. Ведь только так можно реально оценить и собственные силы, понять уровень того, что делают другие. Сегодня нельзя топтаться на месте. Нужно искать новые формы работы, не бояться расставаться с тем, что устарело, изжило себя, как случилось, например, с некогда популярной программой «Мелодии друзей». В последние пять-шесть лет это эстрадное представление уже не привлекает публику, как раньше, не имеет прежнего успеха. Госконцерт и наши партнеры из социалистических стран стали несколько формально относиться к проведению этой совместной акции. В ней чаще принимают теперь участие не «звезды» эстрады, как это было изначально задумано, а просто те артисты, которые в данный момент свободны. Сейчас мы продумываем вопрос о том, как радикально изменить форму показа эстрадного искусства социалистических стран. Появилась интересная идея — организовать фестиваль «звезд» социалистической эстрады на Дальнем Востоке. Будет иной режиссерская и сценарная форма эстрадного спектакля, зритель окажется вовлеченным в театральное действие. Предполагается провести в следующем году фестиваль «Творческие молодые силы социалистических стран», в нем примут участие артисты всех жанров. Может быть, это даст новый импульс для поиска свежих, незаштампованных форм сотрудничества.

Сейчас, когда весь мир с интересом наблюдает за событиями, происходящими в нашей стране, в нашей культуре, когда о перестройке, гласности говорят на всех языках, надо стараться использовать любые возможности, чтобы как можно разнообразнее представлять советское искусство на разных континентах. Нам уже тесны рамки обычных обменов. Почему бы нам не выходить, например, не только на традиционные для нас фестивали и конкурсы, но и на такие, где раньше сама мысль о нашем участии могла вызывать лишь улыбку? Приведу конкретный пример. Как известно, на Западе сложилось устойчивое мнение, что в Советском Союзе не существует рок-музыки, а если и есть, то невысокого качества. Выступления за рубежом в этом году наших групп доказали обратное. Появление «Автографа», например, на фестивале, о котором, признаюсь, мы раньше и не знали — во французском городе Бурже,— стало для зрителей и коллег-музыкантов приятным сюрпризом. Так же, как, например, участие в фестивале в Англии, организованном Кэпитэл радио, советской группы «Диалог», которая тоже получила хорошую прессу, или группы Стаса Намина на фестивале в Японии. А сколько еще существует престижных конкурсов, особенно в области эстрады, которые мы в силу разных причин не знаем, и где наши артисты могли бы показать свое мастерство! В Госконцерте изучается конъюнктура рынка, выискиваются новые, еще не использованные возможности.

Если вы пройдете вечером мимо здания Госконцерта, то заметите, что во многих окнах горит свет. Срочные, неотложные дела, телексы, международные телефонные звонки, переговоры с филармониями и гостиницами других городов заставляют людей уходить домой, когда рабочий день уже давным-давно закончился. Мы отвечаем за все, в том числе и за не вовремя пришедший или отправленный груз. Ведь это грозит срывом гастролей, хотя бывает, что виноват здесь Аэрофлот или железная дорога, а отнюдь не нерадивость сотрудника Госконцерта. Наш бич — это гостиницы, проблема, на сегодняшний день неразрешимая. Мы практически не имеем гарантированных мест ни в одной гостинице Москвы, а тем более Союза. И бывают такие случаи, когда заранее зарезервированные нами для артистов места вдруг накануне без нашего ведома кому-то отдаются. А объясняться с зарубежными импресарио и артистами приходится сотрудникам Госконцерта, работающим в качестве переводчиков, сопровождающих. Если бы не личные их контакты с работниками гостиничных служб, ресторанов, наши подопечные оставались бы порой после концертов и спектаклей без ужинов и без крыши над головой. Сколько раз из-за отсутствия мест в запланированной гостинице под угрозой срыва были выступления известных артистов и коллективов! Впрочем, на страницах «Огонька» уже упомянул об этом министр культуры В. Захаров, рассказав о тех безобразиях, которые творились с расселением музыкантов Балтиморского оркестра. Не лучшая ситуация была с Лолитой Торрес и ее музыкантами, с болгарскими театрами, да и со многими другими. Не менее сложно обстоит у нас дело с транспортом — нам не дают то машины, то пришлют для музыкантов такой автобус, что, кажется, его только что приволокли со свалки металлолома. Стыдно перед зарубежными исполнителями. Что делать, мы не имеем своего автохозяйства, а Мосгорисполком, особенно в последнее время, был нам не очень активным помощником, хотя именно от него зависело решение многих проблем, о которых я говорил. Мы обратились в Совет Министров с просьбой предоставить нам специальную гостиницу. Нам выделили гостиницу «Бухарест». Ну, а если немножко помечтать, то скажу: нам бы хотелось превратить этот отель в культурный центр, где будет концертный зал и все условия для репетиций.

В искусстве не избежать субъективных оценок. Подспудно в любом отзыве всегда присутствует формула «нравится — не нравится», «люблю — не люблю». Поэтому так важно постараться коллегиально вырабатывать объективную оценку, когда речь заходит о приглашении зарубежных коллективов и исполнителей. Надо помнить и о вкусах публики. Мы стремимся, чтобы из-за рубежа к нам приезжали не только интересные, но и очень разные артисты. Особенно сложно нам приходится, когда заходит речь об эстраде,— я уже говорил об этом. Выход, мне кажется, в том, чтобы привлекать к формированию гастрольной политики широкий круг композиторов, музыкантов, журналистов, музыковедов, которые должны совместно с членами нашей репертуарно-художественной коллегии обсуждать все эти вопросы. Только так, мне кажется, мы сумеем познакомить советских зрителей со всем самым интересным, что есть в мире, а зарубежной публике представим советское искусство во всем его многообразии.

Олег СМОЛЕНСКИЙ,
директор Госконцерта СССР

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Грэм ГРИН

РОМАН

Рисунки Геннадия НОВОЖИЛОВА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В одном из отделов английской разведслужбы произошла утечка секретной информации. Во время проверки у Дэвиса, сотрудника этого отдела, обнаружили письмо, которое он не должен был выносить из кабинета. Глава разведслужбы Джон Харгривз пригласил своих сослуживцев — полковника Дейнтри, ведающего вопросами внутренней безопасности, и врача Персивейла — поохотиться в его поместье. Но их интересует вовсе не охота. Они решают, какие меры следует принять, чтобы факт утечки секретной информации не смог стать достоянием гласности и нанести моральный ущерб разведслужбе. Они обсуждают каждого сотрудника, не оставляя без внимания тот факт, что именно Дэвис попался при проверке, когда хотел вынести секретные документы. Харгривз предлагает при обнаружении устранить виновного агента без суда и следствия. Полковник Дейнтри же считает, что в таком случае дело следует передать в суд.

Глава I

Молодой старец с волосами, свисающими до плеч, и со взором аббата из восемнадцатого века, обремененного проблемами небытия, проворно вышел из дискотеки на углу Литтл-Комптон-стрит и прошмыгнул мимо Касла.

Касл приехал сегодня поездом раньше обычного, и до работы у него в запасе оставалось три четверти часа. Сохо в это время суток еще сохраняло некую привлекательность и целомудренность, которая была присуща данному району во времена его молодости. Именно на этом углу Касл впервые в жизни услышал иностранную речь, а в малюсеньком дешевом ресторанчике по соседству выпил первый в жизни стаканчик вина.

Пройтись по Олд-Комптон-стрит тогда значило не меньше, чем переплыть Ла-Манш. В девять утра клубы, промышлявшие стриптизом, были еще закрыты и работали лишь небольшие закусочные-деликатески, оставшиеся от старых добрых времен. Имена, красовавшиеся на дверных табличках — Лулу, Мими и другие,— красноречиво говорили о вечерней и ночной специализации улицы. По тротуару стекала вода, несколько домохозяек, решивших пораньше обзавестись «салями» и ливерной колбасой, с довольным видом прошли мимо Касла. Полицейских вообще нигде не было видно, хотя с наступлением сумерек они парами важно прохаживались по кварталу. Касл пересек тихую улочку и зашел в книжный магазин, куда наведывался уже несколько лет.

Книжный магазин выделялся своей респектабельностью среди других книжных лавок Сохо, например, той, что находилась на противоположной стороне улицы под яркой вывеской «Книги». На витрине там были выставлены порножурналы, но никто не видел, чтобы их раскупали. Журналы вместе с тем служили своего рода приманкой и рекламировали то, что можно было приобрести, зайдя внутрь. Против яркой вывески «Книги» и располагался магазин «Хэллидей и сын», витрина которого была плотно заставлена книгами таких издательств, как «Пингвин», «Эвримен», и подержанными изданиями серии «Всемирная литература». Сын владельца книжного магазина никогда здесь не появлялся, и в магазине можно было застать лишь старшего Хэллидея — сутулого, убеленного сединами господина. Обходительность с клиентами так же прочно вошла в его манеру поведения, как и привычка носить старый костюм, в котором букинист, вероятно, завещал себя похоронить. Все деловые письма мистер Хэллидей по старинке писал от руки. Как раз за этим занятием и застал его Касл, зайдя в магазинчик.

— Сегодня прекрасное осеннее утро, мистер Касл,— заметил Хэллидей, аккуратно выводя последнюю фразу письма: «Ваш покорный слуга».

— А за городом даже немного приморозило.

— Вообще-то для заморозков еще рановато,— заметил Хэллидей.

— Хотелось бы узнать, нет ли у вас книги «Война и мир»? Мне не довелось прочесть этот роман раньше. Пора, видимо, восполнить пробел.

— А «Клариссу», сэр, вы уже одолели?

— Пока нет, но опасаюсь, что ничего с ней так и не получится. Как только представлю, сколько томов еще осталось... Хочется чего-то другого.

— Недавно вышло новое издание романа в издательстве «Макмиллан», но мне кажется, у меня остался, правда, подержанный, но в хорошем состоянии, однотомник из серии «Всемирная литература». В переводе Эйлмера Мода. Что касается произведений Толстого, то тут Эйлмер Мод — непревзойденный мастер. Ведь он не просто переводчик, он дружил с писателем.

Хэллидей отложил ручку и неодобрительно прочел последнюю фразу письма: «Ваш покорный слуга». Видимо, он остался недоволен своим почерком.

— Вот это издание мне и надо. И, разумеется, в двух экземплярах.

— Как ваши дела, сэр, позвольте спросить?

— Мальчик заболел. У него корь. В принципе ничего страшного. Пока без осложнений.

— Ну, и хорошо, мистер Касл. Корь в наше время может доставить много хлопот. А на работе у вас, надеюсь, все в порядке? Никаких особых кризисов в международных отношениях нет?

— Никаких, насколько я знаю. Все весьма спокойно. Я стал серьезно подумывать об уходе на пенсию.

— Как жаль, сэр. Ведь для ведения международных дел нам нужны такие, как вы, повидавшие свет специалисты. Пенсию вам, думаю, назначат приличную?

— Не уверен. А как у вас идет торговля?

— Умеренно, сэр, весьма умеренно. Мода меняется. Помню, в сороковые годы люди в очередях стояли, чтобы приобрести серию «Всемирная литература». А нынче на великих мастеров спрос совсем невелик. Пожилые стареют, а молодые... знаете, у меня такое впечатление, что молодые и не собираются стареть, а вкусы их так отличаются от наших... Торговля у моего сына в магазинчике через дорогу идет куда лучше, чем у меня.

— Да, клиентура у него, пожалуй, специфичная.

— Мистер Касл, я предпочитаю не говорить на эту тему. Наши два магазина существуют независимо друг от друга — я всегда настаивал на таком подходе. И ни один полицейский никогда не зайдет ко мне, знаете,— между нами говоря,— за взяткой. Конечно, большого вреда от того, чем занимается сын, нет. Думаю, это все равно, что духовная пища для падших душ. Ведь как ни старайся, но бесполезно развращать уже развращенных, сэр.

— Мне бы хотелось как-нибудь познакомиться с вашим сыном.

— Он появляется здесь к вечеру и помогает мне со счетами. Он намного лучше меня справляется со всей бухгалтерией. И мы часто вспоминаем вас, сэр. Ему, например, интересно, какие книги вы покупаете. Мне кажется, иногда он просто завидует мне, что у меня есть такие клиенты, хотя их и немного. У него самого клиентура делает все как-то скрытно. Они, к примеру, не станут обсуждать книгу, как мы с вами.

— Можете передать ему, что у меня есть издание «Месье Николаса», которое я хотел бы продать. По-моему, для вас это не совсем подходит.

— Не очень уверен, сэр, что это и ему подойдет. Вы ведь не станете возражать, что данную книгу можно, пожалуй, отнести к классике. Название для его клиентуры не столь зазывающее, да и стоит она дорого. В каталоге такую литературу скорее всего отнесли бы к категории «эротических», а не «развлекательных для взрослых». Конечно, у сына, возможно, найдется охотник и на эту книгу. Большинство изданий в лавке дается как бы напрокат, вы, вероятно, в курсе. Сегодня покупатель берет одну книгу, а завтра меняет ее на другую. Подобная литература не предназначена для длительного хранения, как, допустим, когда-то редкое издание сочинений сэра Вальтера Скотта.

— Вы не забудете передать ему о «Месье Николасе»?

— Разумеется, нет, сэр. Ретиф де ла Бретонн. Ограниченный тираж. Опубликована «Родкером». Что касается книг, издававшихся ранее, то тут у меня энциклопедическая память. А «Войну и мир» вы возьмете с собой сейчас? Если позволите, я удалюсь минут на пять, чтобы снять книги со стеллажей.

— Можете отправить их мне прямо в Беркампстед. Сегодня мне некогда будет читать. Прошу только не забыть передать вашему сыну...

— Ну, разве я когда-нибудь забывал передавать то, что вы просили?

Выйдя из магазина, Касл перешел улицу и какое-то время приглядывался к тому, что происходило в лавке напротив. Он разглядел в ней молодого человека спортивного сложения, с грустным видом прохаживающегося вдоль стойки, на которой красовались журналы типа «Только для мужчин» и «Пентхаус»... Вторая половина лавки была отгорожена плотной зеленой шторой. Там, по всей вероятности, экспонировались более изысканные и дорогие предметы, и скрывались от посторонних глаз стыдливые клиенты, там же, видимо, находился и молодой Хэллидей, с которым Касл не имел счастья быть знаком. Касл, правда, несколько усомнился в том, что выражение «не имел счастья» было приемлемо в данной ситуации.

Дэвис, пожалуй, впервые появился на работе раньше Касла. Как бы извиняясь, он начал объяснять:

— Сегодня я пришел пораньше. Я сказал себе: наш новый «чистильщик», должно быть, снова станет все вынюхивать. Итак, я решил... проявить что ли усердие... Ведь вреда особого от этого нет.

— Утром Дейнтри не будет, сегодня ведь понедельник. На выходные он уехал на охоту. Что-нибудь пришло из Заира?

— Ровным счетом ничего. Янки запрашивают дополнительную информацию о деятельности китайцев в Занзибаре.

— У нас ничего нового для них нет. Этим занимается МИ-5[1].

---

[1] Британская служба безопасности (контрразведка).

Продолжение. См. «Огонек» №№ 1, 2.

— По шумихе, которую они подняли, можно подумать, что Занзибар находится от них так же близко, как Куба.

— Так оно и есть, ведь мы живем в век реактивной техники.

Синдра, дочь генерал-майора, зашла в кабинет с двумя чашками кофе и телеграммой. На девушке были коричневые брюки и водолазка. У них с Дэвисом было много общего, поскольку оба постоянно разыгрывали комедию. Если верный своим чувствам Дэвис выглядел шалопаем под стать азартному игроку, то Синдра, домашняя по натуре, очаровывала экстравагантностью молодой налетчицы из детективного фильма. Жаль только, что печатала она весьма посредственно и с ошибками, но, может быть, этот ее недостаток, как и имя, служили напоминанием о временах королевы Елизаветы I. И она сама жила, вероятно, в ожидании средневекового рыцаря, а пока довольствовалась ухаживаниями Дэвиса.

— Телеграмма из Лоренсу-Маркиша,— обратилась Синдра к Каслу.

— Твой улов, Дэвис.

— Да, чрезвычайно интересно,— воскликнул Дэвис.— Послушайте: «Ваше сообщение 253 от 10 сентября не поддается прочтению. Просим повторить». Так что это скорее твой улов, Синдра. Отправляйся и будь умницей, зашифруй телеграмму еще раз и постарайся не делать опечаток. Так будет вернее. Знаешь, Касл, когда я начал работать в конторе, я был еще романтиком. Я полагал, что буду заниматься ядерными секретами. Ведь меня, собственно, взяли потому, что я был в ладах с математикой, да и в физике кое-что смыслил.

— Ядерными секретами занимается сектор 8.

— Мне представлялось, я научусь каким-нибудь интересным трюкам, по крайней мере как пользоваться тайнописью. Уверен, что ты наверняка эту науку освоил.

— Когда-то меня обучали тайнописи, чуть ли даже не тому, как использовать для этого птичий помет. Я прошел тогда целый курс, и в конце войны меня отправили на задание. Меня снабдили красивой деревянной коробочкой, набитой всевозможными пузырьками, такими, как в детских наборах для занятий химией. Еще у меня был электрический чайник с набором вязальных пластмассовых игл.

— А это еще зачем?

— Чтобы вскрывать письма.

— Ну, и тебе это удалось хотя бы раз? Я имею в виду — вскрыть конверт?

— Нет, хотя и пытался однажды. Меня учили вскрывать конверт не сверху, а сбоку, а потом, когда письмо снова заклеиваешь, следует пользоваться тем же клеем. Но получилось, что клей у меня оказался другого качества, так что письмо пришлось сжечь после прочтения. Так или иначе в нем не было ничего важного. Оказалось обычным любовным посланием.

— Ну, а как насчет личного оружия? У тебя, наверное, был настоящий люгер. Или авторучка с взрывным устройством?

— Отнюдь. Здесь Джеймсом Бондом и не пахло. Мне не разрешалось носить оружие, а что касалось машины, так у меня был подержанный «мини-моррис».

— Ну, уж нас-то они могли бы снабдить одним люгером на двоих. Ведь мы живем сейчас в век терроризма.

— Зато у нас есть экранирующее устройство для телефона,— мягко проговорил Касл в надежде, что это как-то успокоит Дэвиса.

По взвинченному тону Дэвиса Касл понял, что сегодня он не в духе и может сорваться. Выпил, видимо, больше нормы, расстроился из-за Синдры...

— А с микрофото приходилось когда-нибудь иметь дело, Касл?

— Никогда.

— И это я слышу от тебя, прошедшего войну профессионала? Ну, какая самая секретная информация вообще проходила когда-либо через твои руки, Касл?

— Однажды я знал примерную дату вторжения.

— В Нормандии?

— Нет. Всего-навсего на Азорских островах.

— А мы там разве высаживались? Я все уже позабыл, а может быть, и вообще не знал. Тем не менее, мой друг, полагаю, нам пора засучить рукава и вовсю заняться проклятым Заиром. Ты, например, можешь мне объяснить, с какой стати янки так заинтересованы нашим прогнозом о производстве меди у них в стране?

— Наверное, это как-то может повлиять на бюджет и сказаться на программах помощи. Вероятно, правительство Заира соблазнится получением помощи и из других источников. Вот видишь, в сообщении 397 отмечено, что 24-го президент отобедал с неким лицом, у которого славянская фамилия.

— И это тоже нам надлежит сообщить ЦРУ?

— Конечно.

— И ты полагаешь, что взамен они передадут нам какой-нибудь маленький секрет об управляемых ракетах?



Несомненно, это был один из самых безысходных дней для Дэвиса. Глаза его были застланы желтой пеленой. Одному только всевышнему известно, какой такой смесью он себя накачал в своем холостяцком пристанище на Дейвис-стрит.

— Джеймс Бонд уже давным-давно приручил бы Синдру,— мрачно проговорил Дэвис,— на песчаном пляже под лучами жаркого солнца. Передай, пожалуйста, карточку Филиппа Дибба, если не трудно.

— Под каким он номером?

— 59800/3.

— А что с ним такое?

— Поговаривают, что его вынудили уйти с поста директора Центрального почтамта в Киншасе. Слишком уж много марок он прикарманил для своей частной коллекции. Таким образом, мы потеряли нашего самого высокопоставленного агента в Заире.

Дэвис зажал голову руками и заскулил, как собака, выражая искреннюю досаду.

— Прекрасно понимаю, какое у тебя сейчас настроение,— посочувствовал Касл,— иногда мне самому хочется уйти на пенсию... или переменить работу.

— Слишком поздно.

— Тем не менее Сара все время убеждает меня написать книгу.

— О государственных секретах?

— Да нет же, не о нас. Об апартеиде.

— Уж это никак бестселлером не назовешь.

Дэвис внес необходимые данные в досье Дибба. Затем сказал:

— Пошутили и хватит, дружище, не забивай себе голову. Я бы тут вообще не смог работать, если бы не ты. Я просто-напросто сломался, не будь здесь кого-то, с кем можно по-свойски пошутить. Я даже улыбнуться боюсь в присутствии других... в том числе и Синдры. Я люблю ее, но она так, черт побери, исполнительна, что может донести на меня как на неблагонадежного полковнику Дейнтри. Все, как у Джеймса Бонда, когда он убивает девушку, с которой провел ночь. С той лишь разницей, что у нас с ней ничего не было.

— Послушай, ведь я пошутил,— возразил Касл.— Ну как, посуди сам, я отсюда уйду? Куда мне деться? Остается только уйти на пенсию. Мне ведь шестьдесят два, Дэвис, и я уже перевалил за официальную возрастную черту. Иногда мне кажется, что они просто про меня забыли или, возможно, вообще потеряли мое досье.

— Они тут запрашивают сведения на парня по имени Агбо, служащего «Радио-Заир». 59800 предлагает его в качестве резервного агента.

— С какой целью?

— У него есть выход на «Радио-Гана».

— Звучит как-то неубедительно. Так или иначе Гана не входит в сферу нашей деятельности. Передай это в сектор 6В. Пусть они и решают, нужен ли он им.

— Не торопись, Касл. Зачем нам добровольно расставаться с ценным человеком? Кто знает, что может получиться из агента Агбо? Предположим, из Ганы он сможет внедриться на «Радио-Гвинея». Тогда он затмит самого Пеньковского. Какой будет прорыв! ЦРУ никогда не удавалось так глубоко внедриться в Черную Африку.

«Да, Дэвис сегодня явно плох»,— подумал Касл.

— Мне кажется, мы в секторе обращаем внимание лишь на самые теневые стороны происходящего,— заметил он вслух.

Синдра принесла Дэвису пакет.

— Тебе нужно расписаться в получении вот здесь.

— А что это такое?

— Откуда я могу знать? Что-то от администрации.

Она подхватила листок, лежавший на подставке для исходящих документов.

— Это все? — переспросила Синдра.

— В данный момент мы не очень перегружены работой, Синдра. С тобой можно будет сегодня пообедать?

— Нет, мне нужно кое-что купить на ужин.

Она плотно прикрыла за собой дверь.

— Ну вот, в другой раз. Всегда в другой раз.— Дэвис открыл конверт и вспылил: — Интересно, что они там еще придумали?

— Что-нибудь не так? — поинтересовался Касл.

— А ты разве не получал такое приглашение?

— На медицинский осмотр? Как же, получал. Даже счет потерял этим осмотрам. То ли они связаны со страхованием, то ли — с пенсией. Перед тем как отправить меня в Южную Африку, доктор Персивейл — не знаю, встречал ли ты его раньше? — так вот, доктор Персивейл добивался того, чтобы у меня нашли диабет. Меня направили к специалисту, и он обнаружил, что вместо избытка сахара у меня его недостаток... Бедняга Персивейл. Работая в нашей фирме, он, мне кажется, несколько оторвался от обычной медицинской практики. В нашем заведении безопасности придается гораздо больше значения, чем правильно поставленному диагнозу.

— Направление подписано как раз Персивейлом, Эммануилом Персивейлом. Ну и имя же у него. Не этот ли Эммануил, как гласит святое писание, был вестником добрых новостей? Как ты думаешь, может быть, они собираются меня тоже послать за границу?

— А тебе бы хотелось?

— Я всегда мечтал, чтобы меня когда-нибудь послали в Лоренсу-Маркиш. Подошло как раз время менять там нашего человека. И портвейн у них, наверно, отличного качества... Революционеры тоже, думаю, пьют портвейн. Если бы только со мной была Синдра...

— А мне почему-то казалось, ты предпочитаешь оставаться холостяком.

— Я не имею в виду женитьбу. Бонд никогда не связывал себя семейными узами. И вообще мне нравится португальская кухня.

— Не исключено, что теперь там скорее всего африканская кухня. А ты имеешь хоть какое-нибудь представление об этом райском уголке, помимо депеш от нашего 69300?

— Я собрал полное досье на все ночные заведения и рестораны. Сведения, правда, несколько устаревшие. Вполне возможно, что теперь их все позакрывали. Тем не менее 69300 не знает и половины того, что мне известно об их интригах. Он не ведет досье и вообще воспринимает все чертовски серьезно. Такое впечатление, что он продолжает работать, лежа на диване. Подумай только, какую экономию мы могли бы принести в паре.

— В паре?

— Синдра и я, естественно.

— Ну и фантазер же ты, Дэвис. Она никогда не пойдет за тебя. Не забывай, ведь ее отец — генерал-майор.

— Каждый мечтает по-своему. А ты о чем мечтаешь, Касл?

— О, пожалуй, иногда о том, чтобы была уверенность в завтрашнем дне. Это вовсе не то, чего добивается Дейнтри. Понимаешь, я хотел бы выйти на пенсию, причем хорошую пенсию. Так, чтобы хватало средств на меня и жену...

— И на твоего маленького чертенка?

— И на него, разумеется, тоже.

— В нашем управлении они не столь уж щедры на пенсии.

— Вот почему, мне кажется, что никто из нас так и не дождется осуществления своей мечты.

— Так или иначе, но вызов на медосмотр должен все-таки что-то значить, правда, Касл? Когда я был в Лиссабоне, наш человек повел меня в подвальчик, где ручеек шумел прямо у нашего столика... Я никогда в жизни не пробовал таких лангустов, как там. Я читал и о ресторанчиках в Лоренсу-Маркише... Мне даже нравится их молодое, или, как они говорят, зеленое вино, Касл. По справедливости там надо быть мне, а не этому 69300. Он ничего не смыслит в красивой жизни. А ведь ты бывал у них, не так ли?

— Я провел в Лоренсу-Маркише два дня с Сарой семь лет назад, в отеле «Полана».

— Всего два дня?

— Я спешно уехал из Претории — ты ведь в курсе всего — я хотел опередить БОСС[1]. Я не чувствовал себя в безопасности рядом с границей. Я хотел, чтобы океан отделял Сару от южноафриканской охранки.

— Ну, конечно, вы с Сарой. Счастливчики. В отеле «Полана», с видом на Индийский океан.

Касл почему-то вспомнил холостяцкую квартиру Дэвиса: грязные стаканы и разбросанные кругом журналы «Пентхаус» и «Нейчер».

— Если ты серьезно, Дэвис, я поговорю с Уотсоном. Я предложу твою кандидатуру для замены.

— Я говорю об этом более чем серьезно. Я мечтаю выбраться отсюда, Касл. Всеми силами.

— Неужели все так уж плохо?

— Мы занимаемся тут тем, что плодим ничего не значащие телеграммы. Мы гордимся тем, что знаем чуть больше простых обывателей о земляных орехах и о том, что сказал Мобуту на неофициальном приеме... Известно ли тебе, что я стал работать в конторе, поскольку хотел острых ощущений, Касл. Каким же кретином я был. Понять не могу, как удалось тебе проработать... столько лет...

— Наверно, мне было легче, ведь я женат.

— Если я когда-нибудь женюсь, я не стану тут жить. Я до безумия устал от проклятой старой Англии, Касл. Бесконечные перебои с электричеством, забастовки, инфляция... Меня не волнует рост цен на продукты питания, а вот цены на хороший портвейн действуют мне на нервы. Я пришел в контору в надежде поехать за границу. Я даже выучил португальский. Я по-прежнему торчу на месте, отвечая на телеграммы из Заира и докладывая о земляных орехах.

— Мне всегда казалось, Дэвис, что тебе здесь нравится работать.

— Да, нравится, когда я немного выпью. Я люблю эту девушку, Касл. Я просто не могу выкинуть ее из головы. И я из кожи лезу, чтобы угодить ей, но чем больше я стараюсь, тем меньше нравлюсь ей. Вот если бы меня послали в Лоренсу-Маркиш... Както раз она сказала, что ей тоже хотелось бы уехать куда-нибудь за границу.

Зазвонил телефон.

— Это ты, Синдра?

Однако это оказалась не Синдра, а Уотсон, заведующий сектором 6.

— Кто у аппарата? Касл?

— Нет, Дэвис.

— Передайте трубку Каслу.

— Да,— сказал Касл.— Слушаю вас.

— «С» хотел бы нас видеть. Вы не зайдете за мной, когда будете спускаться?

Им предстояло спуститься в нижние этажи здания, поскольку кабинет шефа находился в подвальном помещении, там, где еще в девяностые годы прошлого века располагался винный погреб миллионера — владельца дома. Приемная, где Касл и Уотсон дожидались, пока над дверью кабинета «С» не зажжется зеленая лампочка, в те времена использовалась как хранилище угля и дров, а в нынешнем кабинете «С» находились тогда лучшие в Лондоне вина. Ходили слухи, что, когда в 1946 году здание отошло к их управлению и архитектор приступил к реконструкции дома, в винном погребе обнаружили фальшивую стенку, за которой находился тайник бывшего владельца дома — уникальные марочные вина. Вина, как рассказывают, были проданы каким-то малообразованным клерком из хозяйственного управления в резервные фонды армии и флота по цене обычного столового вина. Вероятно, на самом деле все было не так, но когда на аукционе «Кристи» появлялась бутылка какого-нибудь редкого вина, Дэвис обычно скорбно комментировал: «Это тоже из нашей коллекции».

Над дверью по-прежнему светилась красная лампочка. Впечатление было такое, словно они попали в автомобильную пробку и ждут, когда с дороги уберут угодившие в аварию машины.

— Вы не в курсе, в чем, собственно, дело? — поинтересовался Касл.

— Нет. Он лишь попросил представить ему тех сотрудников сектора 6, с кем он еще не знаком. Он уже переговорил с коллегами из сектора 6В, теперь подошла ваша очередь. Моя задача состоит в том, чтобы представить вас и оставить для беседы. Такая вот процедура. Я лично воспринимаю это как отголоски колониального прошлого.

— Я встречался однажды с прежним шефом. Перед тем, как меня впервые направили за границу. Он носил еще черный монокль. Так вот, он угрожающе просверлил меня взглядом, но, к счастью, все закончилось тем, что «С» пожал мне руку и пожелал удачи. Меня случайно снова не собираются направить на загранработу?

— Нет. Почему вы так решили?

— Напомните мне, пожалуйста, переговорить с вами о Дэвисе.

Над дверью вспыхнул зеленый свет.

— Сегодня мне стоило, наверно, более тщательно побриться,— посетовал Касл.

Сэр Джон Харгривз, в отличие от прежнего «С», производил на собеседника весьма благоприятное впечатление. На столе у него лежала пара фазанов, и он разговаривал по телефону:

— Я привез их с собою сегодня утром. Мэри подумала, что тебе это доставит удовольствие.— Он жестом пригласил вошедших сесть.

«Так вот, оказывается, где провел уик-энд полковник Дейнтри,— подумал Касл.— Поохотился на фазанов и заодно поговорил о делах». Из двух предложенных кресел Касл выбрал то, что было поменьше и пожестче, как и требовал протокол.

— Она чувствует себя прекрасно. Немного, правда, беспокоит ревматизм, дает о себе знать больная нога. А так все в порядке.— Харгривз закончил телефонный разговор и повесил трубку.

— Разрешите представить вам Мориса Касла,— начал Уотсон.— Он у нас возглавляет сектор 6А.

— «Возглавляет» — слишком сильно сказано,— возразил Касл.— В секторе ведь работают всего двое.

— Вы обрабатываете совершенно секретную информацию, не так ли? Вы и под вашим началом Дэвис.

— И мы оба под началом Уотсона.

— Да, естественно. Уотсон отвечает за весь сектор 6. Я полагаю, что вы, Уотсон, предоставляете большую самостоятельность своим сотрудникам?

— Я нахожу, что лишь сектору 6С требуется уделять особое внимание. Уилкинз работает у нас не так давно. Ему еще предстоит войти в курс дела.

— Ну, что же, не стану вас больше задерживать, Уотсон. Благодарю, что представили мне Касла.

[1] Управление государственной безопасности ЮАР.

Харгривз провел по перьям одной из убитых птиц. Затем произнес:

— Как и Уилкинз, я тоже вхожу в курс дела. И мне кажется, что здесь все организовано приблизительно так же, как и в Западной Африке, когда я там служил еще в молодости. Уотсон напоминает мне чем-то комиссара провинции, а вы — комиссара округа, которому в принципе в рамках его территории предоставлена самостоятельность. Вы ведь тоже, очевидно, хорошо знаете Африку, не так ли?

— Лишь Южную Африку,— ответил Касл.

— Да, я несколько запамятовал. Я и сам никогда не считал Южную Африку настоящей Африкой. Как, к слову, и Северную тоже. Этим вроде бы у нас занимается сектор 6С, не так ли? Дейнтри ведь вводил меня в курс дела. В выходные.

— И хорошо поохотились, сэр? — поинтересовался Касл.

— Средне. Мне кажется, Дейнтри остался не особенно доволен. Вы тоже приезжайте будущей осенью, попробуйте свои силы.

— От меня мало толку, сэр. Я за всю свою жизнь вообще ни в кого не стрелял, даже в человека.

— Да, вы правы, человек — самая удобная мишень. По правде говоря, я и сам разочаровался в охоте на птицу.

«С» бросил взгляд на листок, лежавший перед ним на столе.

— А вы отличились, работая в Претории. Вас называют первоклассным администратором. Вам удалось весьма существенно сократить там наши расходы.

— До меня работал резидент, который блестяще вербовал агентов, но имел весьма посредственное представление о финансах. А мне удалось с этим справиться. До войны я одно время работал в банке.

— Дейнтри пишет, что у вас в Претории были какие-то проблемы личного характера.

— Я бы не стал называть это проблемами. Я просто влюбился.

— Да, да, понимаю. Здесь есть и об этом. Влюбились в чернокожую. Коренное население там поголовно называют банту. Влюбившись в африканку, вы нарушили их расовые законы.

— Сейчас мы благополучно женаты. Но в ЮАР мы действительно попали в настоящий переплет.

— Верно. Вы нас так и информировали. Мне бы хотелось, чтобы так же честно поступали все наши сотрудники, попадая в затруднительное положение. Вы опасались, что южноафриканская полиция доберется до вас и не оставит живого места.

— Я полагал, что будет неправильно, если у вас там будет работать легко уязвимый резидент.

— Вы, вероятно, догадались, что я довольно тщательно изучил ваше досье. Мы тогда отдали распоряжение, чтобы вы немедленно покинули Преторию, хотя не подозревали, что вы заберете с собой девушку.

— Центр ведь хорошенько просветил ее. И в этом смысле к Саре не было никаких претензий. Мне кажется, вы вряд ли можете упрекнуть меня в том, что я вывез девушку оттуда. До этого я использовал ее для связи с африканскими агентами. Я прикрывался тем, что собираюсь в свободное от работы время провести серьезное критическое исследование апартеида. Кроме того, полиция могла «расколоть» ее. Поэтому я и вывез Сару через Свазиленд в Лоренсу-Маркиш.

— Конечно, вы поступили совершенно верно, Касл. Ну, а теперь вы женаты и у вас ребенок. Все в порядке, надеюсь?

— Как сказать... У сына сейчас корь.

— Да, вам следует внимательнее следить за его зрением. Корь часто дает осложнения на глаза. Собственно говоря, я решил повидать вас, Касл, в связи с одним предстоящим визитом. Через несколько недель к нам должен приехать мистер Корнелиус Мюллер. Он теперь у них в БОСС — большой человек. Мне представляется, вы встречались с ним в Претории.

— Да, безусловно.

— Мы собираемся познакомить его с некоторыми материалами, над которыми вы в настоящее время работаете. Разумеется, лишь в тех допустимых пределах, чтобы был установлен сам факт нашего с ними сотрудничества.

— Но ведь о Заире он наверняка знает намного больше, чем мы сами.

— Его больше интересует Мозамбик.

— В таком случае вам надо использовать Дэвиса, сэр. Он несколько лучше меня разбирается в этих проблемах.

— Да, конечно, Дэвиса. Кстати, я с ним еще не познакомился.

— И еще одно соображение, сэр. Когда я был в Претории, у меня с этим Мюллером сложились не такие уж теплые отношения. Если вас не затруднит взглянуть в мое досье, вы увидите, что именно он пытался шантажировать меня, ссылаясь на расовые законы. Вот почему ваш предшественник отдал мне распоряжение покинуть Преторию как можно быстрее. Мне думается, этот эпизод вряд ли благоприятно скажется на наших с ним контактах. Было бы лучше, наверно, чтобы работу с ним провел Дэвис.

— Дэвис служит под вашим началом, и, как должностное лицо, вы должны увидеться с Мюллером. Это будет не легко, понимаю. Вы встретите друг друга в штыки, и все же он, а не вы, будет застигнут врасплох. Ведь именно вам прекрасно известно, что ему не следует показывать. Очень важно оградить наших агентов — даже если это будет связано с сокрытием от него некоторых важных материалов. У Дэвиса ведь нет такого опыта личного общения с БОСС, какой есть у вас, тем более с мистером Мюллером.

— Ну, а почему мы вообще должны ему что-то показывать, сэр?

— Вы когда-нибудь задумывались, Касл, над тем, что станет с Западом, если южноафриканские золотые прииски закроются из-за расовой войны? Войны, пожалуй, более убыточной, чем вьетнамская. Пока там политики договорятся о заменителе золота, Россия будет его главным поставщиком. Ситуация возникает посложнее, чем нефтяной кризис. А еще алмазные копи... «Де Бирс» намного важнее компании «Дженерал моторс». Алмазы ведь не стареют в отличие от автомобилей. Да есть и кое-что посерьезнее золота и алмазов — уран. Мне кажется, вас еще не ознакомили с секретным документом Белого дома, касающимся проекта, который они окрестили «Дядюшка Римус».

— Пока нет, хотя ходили слухи...

— Нравится нам или нет, но мы, Южная Африка и Штаты, выступаем партнерами по проекту «Дядюшка Римус». Вот почему мы должны быть обходительными с мистером Мюллером — даже если он и пытался вас шантажировать.

— И мне следует дать ему?...

— Информацию о партизанах, о срыве блокады Родезии, о новых людях, пришедших к власти в Мозамбике, о деятельности русских и кубинцев... информацию экономического характера...

— Не так уж много и остается.

— Будьте поосторожней насчет китайцев. В Южной Африке считают, что они заодно с русскими. Может быть, наступит время, когда китайцы нам еще понадобятся. Идея проекта «Дядюшка Римус» мне так же не по душе, как, очевидно, и вам. У политиков это называется «реалистической политикой», а ведь, опираясь на реализм, мы не так далеко ушли в делах с той Африкой, которую я некогда знал. Моя Африка была Африкой сентиментальной. И я, Касл, по-настоящему любил свою Африку. Ни китайцы, ни русские, ни американцы так ее не любят, но мы вынуждены сотрудничать с Белым домом, и «Дядюшкой Римусом», и мистером Мюллером. Увы, раньше, в старые добрые времена, нам было легче. Тогда можно было общаться с вождями племен, шаманами, пророками, владыками дьявола и дождя. Моя Африка оставалась все еще малышкой Африкой Райдера Хаггарда. И там было весьма сносно. Император Чака был намного симпатичнее фельдмаршала Амина Иди. Так что, пожалуйста, будьте полюбезнее с этим мистером Мюллером. Он приедет как личный представитель главы БОСС. Хочу вам даже посоветовать принять его сначала у себя дома — это должно хорошенько его взбодрить.

— Не знаю, согласится ли моя жена.

— Передайте ей, что об этом попросил я. Пусть сама решает — понимаю, это будет ей неприятно...

Касл собрался уже покинуть кабинет шефа, но вспомнил о своем обещании.

— Я мог бы переговорить с вами насчет Дэвиса, сэр?

— Конечно. В чем, собственно, дело?

— Дэвис уже довольно давно работает здесь, в Лондоне. Мне кажется, что при первой возможности его бы следовало направить в Лоренсу-Маркиш вместо агента 69300, для которого перемена климата была бы сейчас весьма кстати.

— Дэвис предложил это сам?

— Не совсем, но, думаю, он с радостью получил бы новое назначение — куда угодно. Уж очень он в последнее время нервничает.

— Из-за чего?

— Отчасти, видимо, на почве неразделенной любви, отчасти — от переутомления на работе.

— Ну что же. Мне хорошо известно, что такое переутомление. Посмотрим, чем можно будет ему помочь.

— Я действительно стал за него беспокоиться.

— Обещаю вам, Касл, что буду иметь его в виду. Кстати, визит Мюллера держится в полном секрете. Вам ведь известно, как мы любим скрывать свои собственные тайны. Так что это будет вашей маленькой тайной. Я даже Уотсону ничего не сказал. А вам не следует делиться этим с Дэвисом.

Перевела с английского Мария ОСИНЦЕВА.

Продолжение следует.



■

Хочу предложить журналу развить тему о барской субординации, которая занимает в нашем обществе незаслуженно большое место. Так уж получилось, что «Огонек» (№ 49, 1987 г.) со статьей Э. Рязанова «Вид с верхнего этажа» мы читали в Дубултах, в Доме творчества писателей. Читали, смеялись, обсуждали.

Как это ни удивительно, но комнаты в Доме творчества распределяются по этажам в зависимости от положения и должности. И чем выше авторитет, тем выше живет писатель. Ну а если поселили на втором, то вы в самом деле «никто». Правда, бывает это чаще летом, реже — зимой. Есть и другие «мелочи», но они не делают погоды. А вот интересные факты из собственной практики.

Дело в том, что я частый гость в Дубултах, но выше пятого этажа никогда не попадал, хотя заявления всегда писал заранее. Бывший директор Дома творчества М. Бауманис как-то раз ехидно проговорился: «...а местным выше пятого не полагается. Верхние этажи для столичных гостей. Такое указание дала Москва».

После того, как мы закончили обсуждение письма Э. Рязанова, многие стали рекомендовать мне написать это письмо. Вдруг и в Литфонде началась перестройка, и нас больше не будут унижать странной, барским духом пахнущей субординацией.

Ю. Ю. ХВИЛИЦКАС,
член Союза писателей СССР
Вильнюс.

■

В рубрике «Слово читателя» в прошлогоднем «Огоньке» № 43 прочитал слова о... себе: «Многие металлурги... рвались на фронт, но им говорили: для вас фронт — это плавильные печи...» Только я не металлург, а шахтер, поэтому мне в военкомате говорили: твое место, твой фронт — угольная шахта.

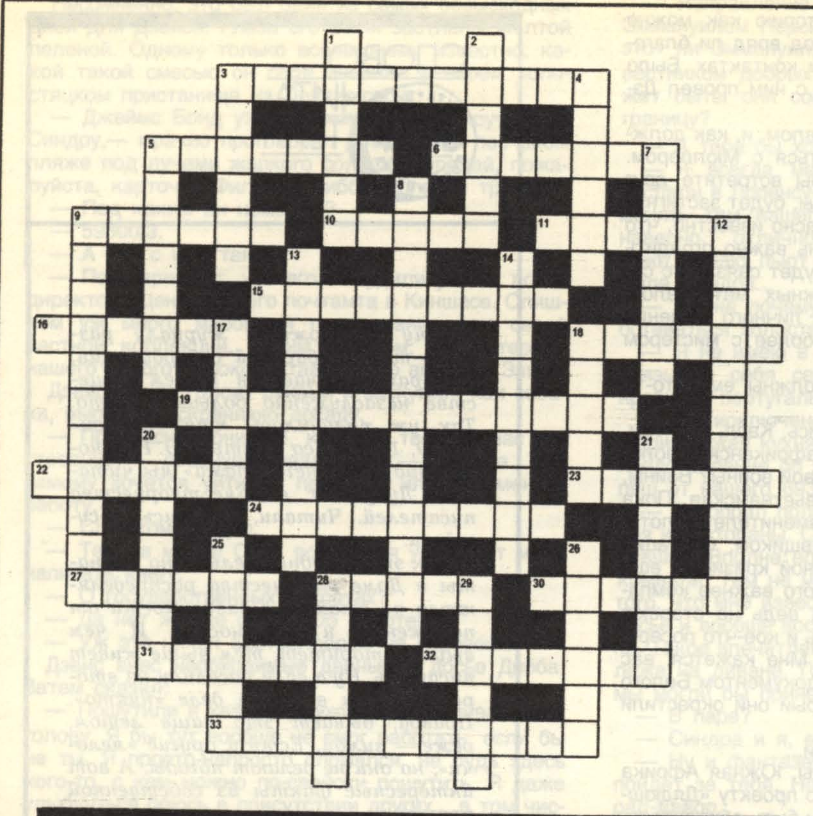
На этом фронте в конце войны я получил «звание» инвалида второй группы с запретом работать под землей. «Все для фронта, все для победы!» — это не только лозунг, это смысл нашей трудной жизни во время войны. А после... тишина, за которой не слышно и не видно того, как мы приближали день победы над врагом.

Но почему?! Неужели наш труд под землей, продолжавшийся порой сутками, с позиций нынешнего дня уже не фронт? И разве не абсурдно делить нас на горстки участников войны, инвалидов войны и инвалидов труда военного времени? Горстки, которые редеют с каждым днем...

И. П. КУРАТОВСКИЙ,
инвалид труда 2-й группы,
ветеран труда
Рига.



Наш адрес:
101456, Москва,
Бумажный проезд, 14



КРОССВОРД

По горизонтали: 3. Поэт, декабрист, друг А. С. Пушкина. 5. Проверка знаний. 6. Столярный инструмент. 9. Каменное изваяние в Древнем Египте. 10. Участок реки с сооружениями гидроузла. 11. Селение в Средней Азии. 15. Помещение для чтения лекций, докладов. 16. Стихотворение М. Ю. Лермонтова. 18. Драгоценный камень. 19. Областной центр в УССР. 22. Духовой музыкальный инструмент. 23. Герой кинотрилогии режиссеров Г. М. Козинцева и Л. З. Трауберга. 24. Педальная машина. 27. Рабочий орган швейной машины. 28. Город в США. 30. Белорусский актер, народный артист СССР. 31. Род газели. 32. Горный хребет в Якутии. 33. Регулятор горючей смеси в двигателе внутреннего сгорания.

По вертикали: 1. Оборотная сторона медали, монеты. 2. Ложи по обеим сторонам партера. 3. Повесть Л. Н. Толстого. 4. Построение в шеренге по росту. 5. Изречение, цитата, предпосланная произведению. 7. Венгерский композитор, автор популярных оперетт. 8. Украинский живописец, передвижник. 9. Писатель, автор романа «Железный поток». 12. Скульптор, лауреат Ленинской премии. 13. Советский живописец, театральный художник. 14. Процесс исторического развития мира организмов. 17. Сорт яблок. 18. Единица веса. 20. Спутник Сатурна. 21. Русский композитор и пианист. 25. Металлический денежный знак. 26. Прибор для определения направления и скорости ветра. 28. Соединительная часть труб, валов. 29. Голубь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 2

По горизонтали: 6. Лепешинская. 9. Существительное. 10. Касаткин. 11. Дивизион. 13. Торф. 15. Рагимов. 17. Приз. 18. Лаборатория. 21. Манн. 22. Студент. 25. Тмин. 28. Камертон. 29. Ютландия. 31. Днепродзержинск. 32. Модификация.

По вертикали: 1. Семестр. 2. Лестница. 3. Химия. 4. Эссекибо. 5. Кальций. 7. Астахов. 8. Мелодия. 12. Миранда. 14. Филин. 15. Ребус. 16. Ворот. 17. Плятт. 19. Шаланда. 20. Лисичка. 23. Теодолит. 24. Нотариат. 26. Криптон. 27. Фамилия. 30. Измир.

СКОРО В «ОГОНЬКЕ»



«ДЕСАНТ СЕВЕРНЕЕ КАБУЛА»

В четвертом номере «Огонька» публикуется очерк нашего специального корреспондента Артема Боровика «Десант севернее Кабула». В нем рассказывается, в частности, о работе Ставки Верховного Главнокомандования Республики Афганистан. На одном из заседаний Ставки, где шел разговор о военном и политическом положении в стране, было разрешено присутствовать нашему репортеру...



■

Хорошо бы «Огонек» на своих страницах рассказал о вывертах в медицинской науке, которые имели место в период культа личности. Поучительно узнать, как был арестован и отправлен в длительное заключение академик медицины, один из организаторов АМН СССР, замечательный ученый, человек поразительной культуры и обаяния — Василий Васильевич Парин. Гонение на него началось по личному указанию Сталина, ему приписали чудовищные обвинения. К счастью, сразу после смерти Сталина он не только был реабилитирован, но и избран академиком Академии наук СССР, доброе имя вернулось к нему, он стал одним из организаторов и создателей космической медицины. А ведь могло случиться иначе, так бы и ушел в небытие замечательный человек.

Подумаешь и согласишься с мнением одного из читателей: а стоит ли города и районы называть в честь руководителей, которые не только поддерживали, но и организовывали травлю ученых? Думаю, что не стоит.

М. А. ЖУКОВСКИЙ,
профессор,
руководитель детской клиники Института экспериментальной эндокринологии и химии гормонов Академии медицинских наук, главный педиатр-эндокринолог Минздрава СССР

■

На страницах «Огонька» часто появляются статьи о многодетных семьях. Печатаются и письма, в которых жалобы занимают основное место. Государство, видите ли, не уделяет им достаточного внимания и заботы. Но государство — это мы все. И все то, что требуют многодетные семьи, все это из нашего кармана.

Я вырастила двоих детей, очень хороших (хотя и бытует мнение, что хорошие дети воспитываются только в больших семьях). Я тоже могла бы родить много детей, но не позволила себе, потому что знала: не смогу вытянуть.

Считаю, что в семье должно быть не меньше двух детей. А если есть желание растить больше, то сначала надо оценить семейный бюджет: хватит его на шестерых или десятерых? Двоих ребятишек прокормить и одеть сможет семья с любым достатком. Чуть лучше, чуть хуже, но сможет. Но как можно, имея те силы и средства, что и немногодетная семья, браться за воспитание «взвода»,— этого я, простая рабочая, не понимаю.

С. Л. МИРОНОВА
Калуга.

■

Экономическая реформа 1965 года, утверждает со страниц «Огонька» академик А. Г. Аганбегян, во многом не удалась потому, что не была до конца хорошо продумана, а ее реализация — последовательной. Тогда, в частности, так и не удалось создать механизм, действующий по принципу: кто лучше работает, тот лучше живет.

В последнее время часто повторяется требование в массовых изданиях «достижения высоких конечных результатов». А сколько их? Всего один! Это — реализация продукции.

В условиях планового хозяйства на уровень рентабельности предприятия влияют: соотношение цен на сырье и готовую продукцию, состав и состояние основных фондов (в том числе и не своих: дороги, мосты, подвижной состав транспорта и т. д.) и даже природные условия.

Потому и прибыль, и уровень рентабельности, как показатели, мало что показывают и почти никак не стимулируют рабочих. Вот и получается, что сегодня лучше живет не всегда тот, кто лучше работает. А должно быть так!

В. И. ВЛАСКИН
п. Солнечнодольск Ставропольского края.

■

Уважаемые товарищи, сообщаю вам, что вы «вынудили» нашу семью подписаться на «Огонек»-88 (хотя подписка и недешева), потому что борьба за демократизацию общества на страницах журнала нам кажется последовательной и искренней.

Наше многолетнее трусливое единогласие во всем — миф, о чем вы не боитесь сказать.

Н. ИЛЬИН,
инженер
Омск.

■

Наверное, многие смотрели телемост Вильнюс — Женева в середине декабря прошлого года и помнят, как бросил монеты в фонтан наш ведущий и как отреагировал на это их корреспондент. «У меня другое отношение к швейцарским деньгам»,— щелкнул он по носу нашего журналиста. И еще по моей памяти. Я вспомнил день 9 мая, когда со своим внуком прихожу в Нижегородский кремль, чтобы возложить цветы на гранитный цоколь Вечного огня. Вокруг этой святыни — сотни людей. Стоят на посту часовые-пионеры. Тишина. Печаль на лицах ветеранов. И вдруг какая-то тетя и ее чадо швыряют в огонь пригоршни монет. Чувствуя, что сейчас взорвусь, я вытащил внука из кольца людей и удалился прочь. Прочь от дикости и кощунства, которые продемонстрировала современная купчиха. Ну, не перевоспитывать же ее в подобном месте!

Может быть, это по силам одному из тех, кто ее воспитал,— нашим телекомментаторам.

Ю. М. ФИРСОВ,
участник Великой Отечественной войны, ветеран труда
Горький.



Наш адрес:
101456, Москва,
Бумажный проезд, 14



МОСКВА–САН-ФРАНЦИСКО, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ

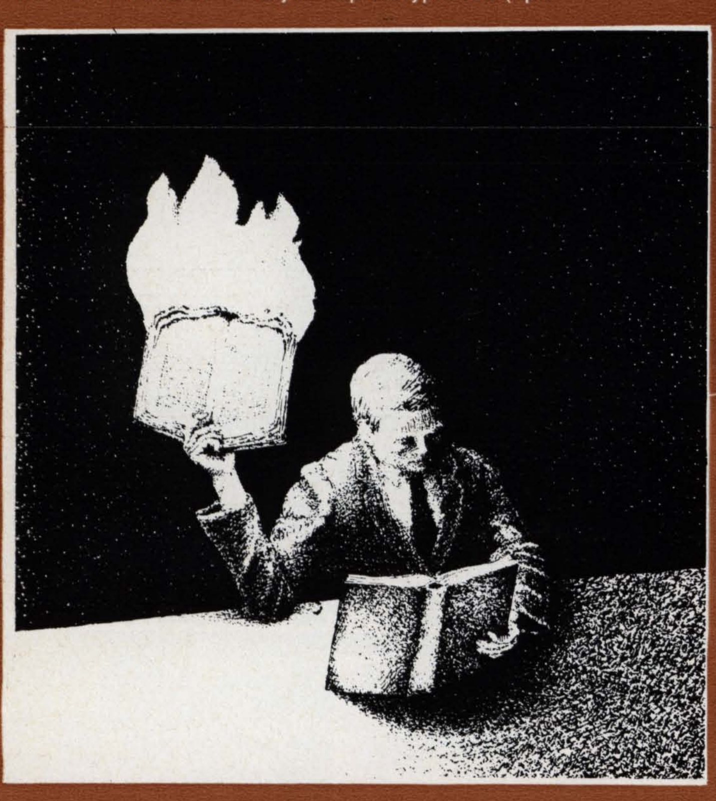


...Прозвенел телефонный звонок, и на холодноватом, похожем на льдинку экране появилось изображение.

— Добрая в'ечер! — на ломаном русском приветствовали нас люди с экрана.

— Гуд найт! Гуд монинг! — синхронно ответили мы на чистейшем английском и для уж совсем полной чистоты добавили:— А также гуд афтенун!

Так начался первый фотофонный обмен между членами Всесоюзного клуба карикатуристов (при «Комсомольской правде» и еженедельнике «Собеседник») и американскими художниками.



Наши ребята рисовали шаржи, которые при помощи фотофона перелетали на другую сторону океана. Карикатуристы из газет «Сан-Франциско кроникл» и «Сан-Франциско икзэминер» передавали свои шуточные версии встречи Нового года. По улицам спешили люди с подарками и елками, наступал 1987 год. И совершенно не верилось в возможность первой в истории совместной советско-американской выставки карикатуры...

А вот теперь, уже в новом году, можно сказать с уверенностью — через несколько дней такая выставка откроется в художественной галерее Сан-Францисского комитета искусств. С нашей стороны на ней будет представлено 200 работ разных художников из Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Запорожья, Прибалтики, Урала.

От США будет выставлена «команда» из 40 лучших карикатуристов Калифорнии и тихоокеанского побережья, среди которых знаменитый рисовальщик кошек Клибан, автор комиксов Р. Крамб, Хэнк Кетчам и многие другие.

В день открытия выставки прямо в зале будет установлен фотофон — видеотелефон, по которому можно одновременно передавать и изображение, и звук. Точно такой же аппарат работает в Белом зале «Комсомольской правды». Перед ним рассядутся наши художники.



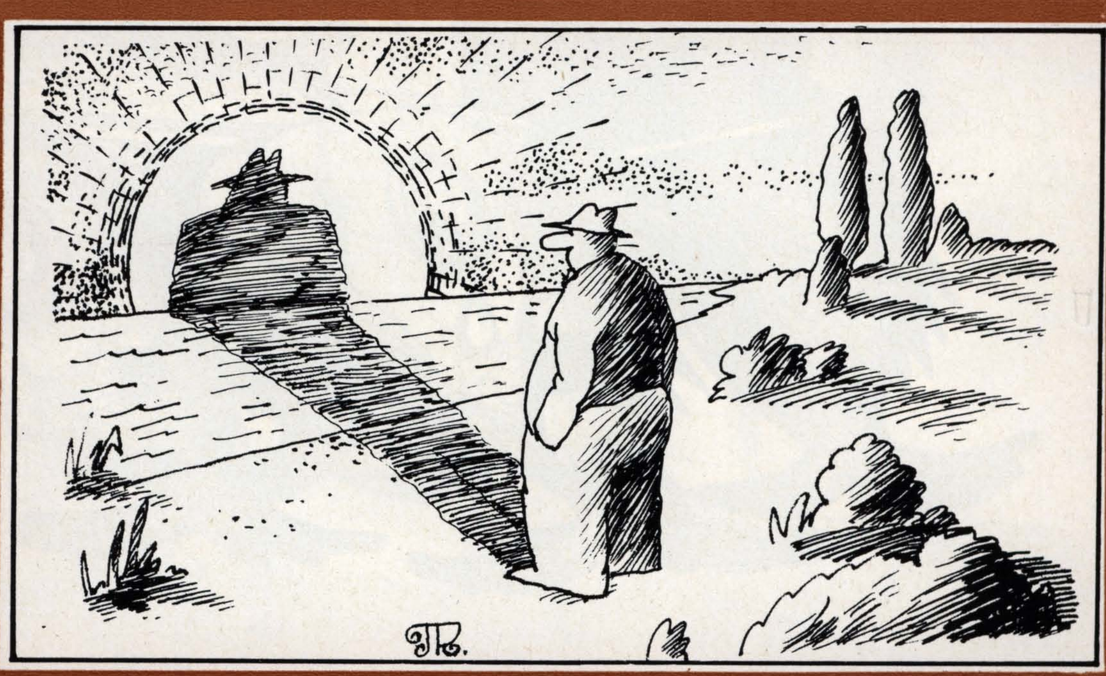
Рисунки:
Владислава ДАНИЛОВА
Валентина РОЗАНЦЕВА
Летра КУЛИНИЧА

По предварительной договоренности после Сан-Франциско экспозиция отправится в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго и Даллас. А нынешним летом мы собираемся принимать американских художников у себя с ответной выставкой. Увидят ее, думаю, в разных городах Союза.

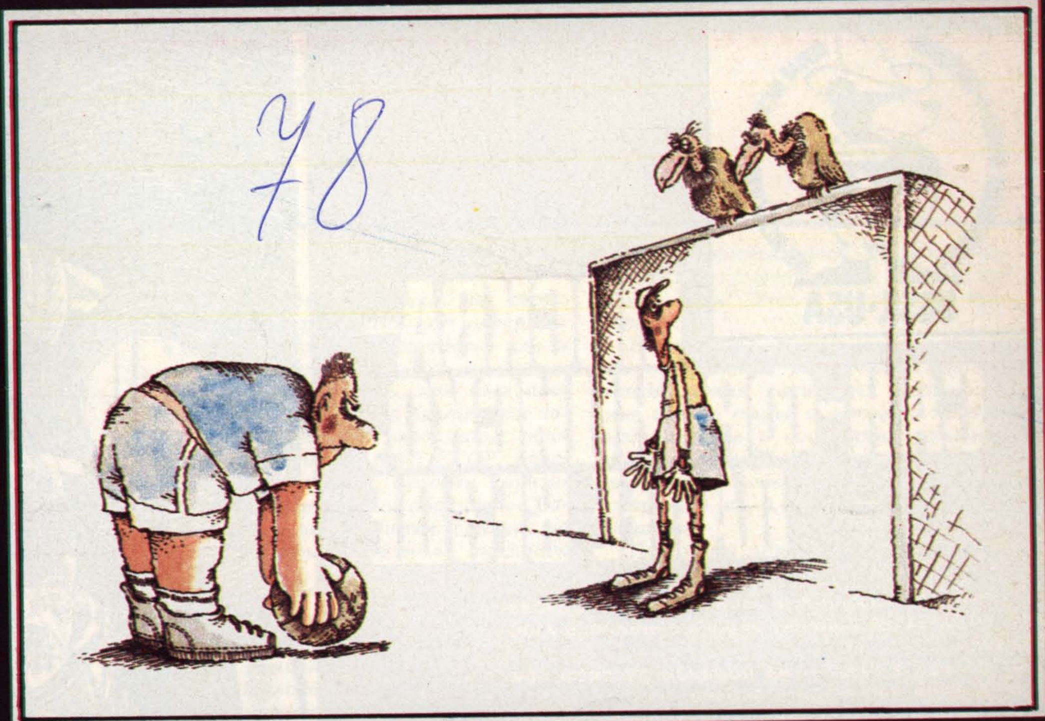
В планах — издание совместного альбома «Карикатуристы за выживание», блиц-конкурсы и встречи.

Уже традиционными стали обмены музыкантами, танцорами, спортсменами. Теперь — очередь улыбки. Она посол мира и сам мир. Искренне смеющийся человек, как правило, не держит булыжника за пазухой.

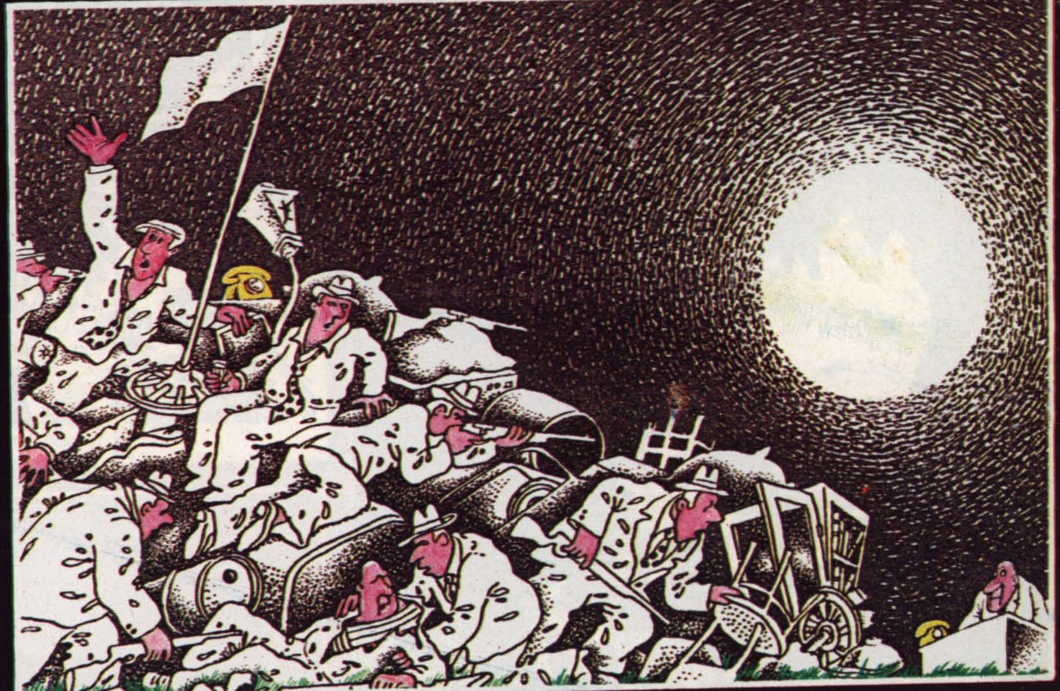
Андрей КОНСТАНТИНОВ

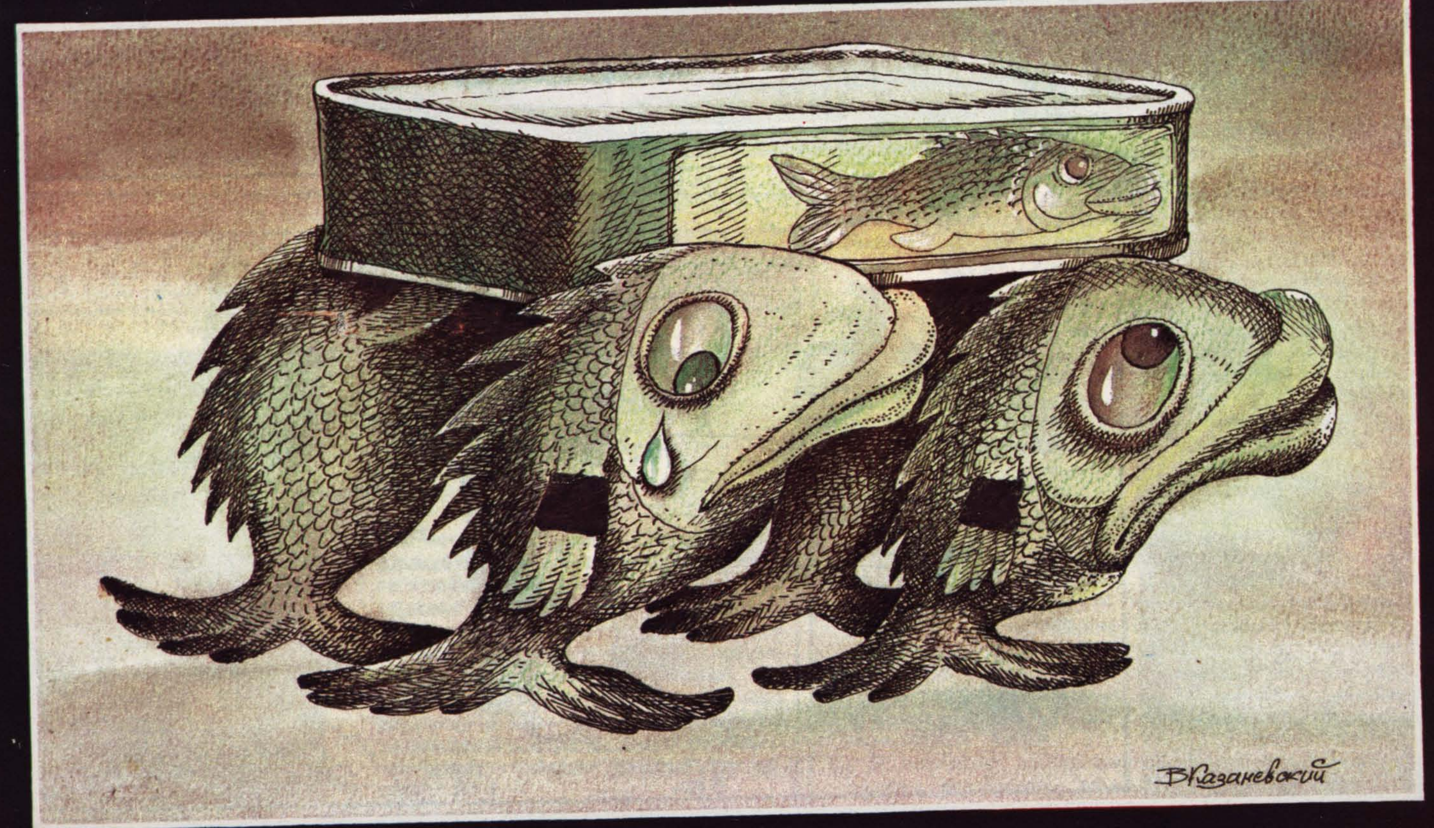












Рисунки

Юрия ИВАНОВА, Николая КРУТИКОВА, Валентина РОЗАНЦЕВА, Владимира КАЗАНЕВСКОГО



ISSN 0131—0097
Цена номера 40 коп.
Индекс 70663